

© ГИПРОЗА

Сергей Солоух

клуб
одиноких
сердец
унтера

Пришибеева

МОСКВА 2002

Annotation

Второй роман Сергея Солоуха "Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева" (1996) вошел в шорт-лист премии Анти-Букер.

- [Солоух Сергей](#)

◦

Солоух Сергей

Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева

Сергей Солоух

"Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева"

Then in comes a man all dressed up
like a Union Jack

M.J. - K.R., 1965

Pour une garce c'en etait vraie. Faut ca
d'ailleurs pour faire bien jouir. Dans
cette cuisine-la, celle du derriere, la
coquinerie, apres tous, c'est comme le
poivre dans une bonne sauce, c'est
indispensable et ca lie.

L.-F.C., 1932

ВТОРНИК

часть первая

ЛЕРА

В половине одиннадцатого утра, в час автобусного межвременья, когда, ковыряя обломками спичек в прокопьевским табаком просмоленных зубах, шоферюги всех без исключения пассажирских автотранспортных объединений индустриального города Южносибирска только-только начали теснить за "козлиными" столами с утра уже навоевавших слесарей, Валерия Николаевна Додд, юная особа недурной, хотя зачем кривить душой, весьма и весьма аппетитной, исключительно привлекательной наружности, имевшая среди не по годам развитых сверстников мужского, конечно же, пола репутацию крали ветреной, ненадежной, неверной, одним словом... впрочем, нет, нет, от слова уж избавьте, увольте, так вот, сидела одна-

одинешенька в молочном кафе "Чай" на Советском проспекте и ела, забавно морща носик, скорее на воде, чем на молоке замешанную, скорбную, голубую манную кашу.

Усилия требовались необыкновенные.

Организм Валерии Николаевны, Леры, "Эх, Валюши", — как восклицал, бывало, на стол вываливая мятые червонцы два раза в месяц папаша Додд, все ее юное и прекрасное существо отказывалось принимать пищу в каком бы то ни было виде, твердом, жидком или же газообразном. Все, кроме сосущей тоскливой пустоты за левым межреберьем, коя несмотря на гадостные позывы, время от времени холодившие отвратительной дрожью нежные девичьи сфинктеры, требовала и немедленно, свою обязательную порцию диетического продукта, умягчителя, адсорбента, и опыт, увы, определенный не позволял гордой красавице Валерии Додд попросту игнорировать угрюмую настойчивость вчерашней невоздержанностью в напитках растревоженного желудка. Страдания физические усугублялись дефицитом теплоты, душевности и сердечности. Человечество, прискорбно, но это так, не спешило расслабить лицевые мускулы, не торопилось подставить братское, сестренское плечо под милую, но непутевую голову силы не рассчитавшей девицы. Как раз напротив, один его типичный представитель здоровая краснорукая подавальщица в непотребном, давно нестиранном фартуке, несмотря на две робкие, необычайно вежливые, церемонные даже и оттого особенно трогательные просьбы, тем не менее все-таки брякнула с механическим безразличием в самую середину (не обойти — не объехать) жидкой размазни гнусную кляксу по раскладке обязательных жиров.

И вот из-за отсутствия любви и понимания простое сгребание липкой каши с белой общепитовской глазури

обернулось деликатнейшими манипуляциями со скользкой ложкой алюминиевой. Да, едва лишь калькуляцией предусмотренное несчастье случилось, Лерин мучитель, тиран и инквизитор, малохольный, гастритный чемпион возгонки желудочных секретов сейчас же недвусмысленно и грубо предупредил свою хозяйку незадачливую о последствиях ужасных и непоправимых, каковые немедленно повлечет за собою растекание мутной желтой жижицы с мерзкими созвездиями белой нездоровой взвеси.

Эх, непруха, козья морда, чертовское невезение. И надо же было несчастью случиться, произойти в это самое утро, именно этого самого дня, что скоротать предстояло не в кругу плотоядных олухов-сослуживцев на мягком креслеполудиванчике, глотки коричневого вязкого напитка перемежая затяжками, колечками сизого дымка, увы, на заднем сидении агрономского "УАЗа" с чванливой надписью от крыла к крылу "редакционный", назначено было бедной именно сегодня вести ухабам счет, колдобинам и светофорам, катя, колбася, уносясь неизвестно куда.

М-да, работа, тяжкий крест, суровая необходимость делать вид, что озабочена со всеми наравне проблемой мировой, как честно свою копейку отработать и стаж поднакопить почетный трудовой, ох, не облегчить обещала режиссеру-стажеру отдела программ для учащейся молодежи и юношества Южносибирской областной студии телевидения Валерии Додд, а лишь продлить, усугубить процесс и без того несладкий выведения токсинов, продуктов агрессивных распада аквы виты из юных жил.

Но, Боже, воскликнет, пожалуй, в недоумении читатель искушенный, до принципов ли тут, высшие соображенья в сей невеселый час уместны ли они вообще, надо идти, ползти домой, или воспользоваться

прямо на углу железным автоматом с трубкой неоткушенной, диском вращающимся, и звонить:

— Алло, Кира Венедиктовна, тут тетку мою верхнекитимскую выписывают из больницы, а дядька почемуто не приехал, так вот не знаю даже, как и быть, только что с ней говорила, она в истерике, конечно...

Нет, нет, даже к сердечной и наивной Кире, начальнице добрейшей сегодня лезть с такими вот импровизациями тухлыми вне всякого сомненья дело недостойное, саму возможность простой спасительной отмазки заказала лапе нашей высокомерной пара мерзких глаз, что сузились, зажглись, уперлись взглядом в спину вечером вчера, тогда, когда стояла Лера Додд в тумане радужном перед зеркальной стеной кафе с ужасной репутацией, кошмарной, "Льдинка", Анюта, злючка — нос в веснушках, двухпальцевая машинистка, какая занесла ее нелегкая в гнездо порока ни раньше и не позже, все теперь, брать в руки себя надо, держать фасон и марку, никаких глупостей с родственниками и знакомыми, ехать, спешить туда, где вышка ретранслятора телевизионного отпугивает самолеты рейсовые по ночам смешными огоньками красными, ехать, улыбаться, жмуриться, шуточки отпускать, и не забыть, конечно, ни в коем случае всем на прощанье сделать ручкой из пыльного чрева вездеходного "УАЗика" "арриведерче".

Вот так-то.

И тем не менее прогресс, заметные сдвиги во всех отношениях, есть чем гордиться, скажем прямо, папаше Додду, например, простодушному мужлану, ни разу не случалось в момент, когда в коробке его черепной силы зла исполняли сатанинским квинтетом "полет шмеля", задумываться, беспокоиться о том, как изделия ширпотреба уберечь снова, а субстанцию общественную, неосязаемую смолоду.

Вообще, заметить следует, разительное несходство близких родственников возбуждало и поддерживало к жизни угасающий интерес доброй дюжины отставных техничек, завхозов, работников бытового обслуживания и коммунального хозяйства, обыкновение имевших все дни свободные заслуженного отдыха вопреки своеволию азиатской погоды, континентального климата, всегда в теплых пальто и ботах, проводить на скамеечке под тополями напротив распахнутых и вечно незашторенных окон квартиры семейства Додд.

Ну, а нежные чувства, любовь, кою со всей очевидностью питали друг к другу длинноногая вертихвостка дочь и папаша, неуклюжий красноглазый увалень, уж не сомневайтесь, заставляла багровые бородавки старческих губ увлажняться слюной невиданно гадких предположений. Что ж, празднуй, ликуй, флаги развешивай фантазия убогая старых калаш, в самом деле Валерия Николаевна Додд, вполне может стать, и не дочь Николая Петровича, но несходство характеров и несовпадение форм даже с бантом в петлице, даже с кумачом на шесте, все равно объяснить не удастся, ибо единственным претендентом на отцовство в этом случае оказывается родной брат Николая Петровича, близнец однойцевый, такой же грузный и белолицый грубиян Додд. Конечно, течение времени, некоторые завихрения, смена темпа, зыбь повседневного мелководья и волны внезапных перемен безусловно, определенно играли пигментацией, вносили (не без этого) некоторую несимметричность в разводы морщин, шалили с волокнами сосудов, нитями тканей, дав посторонним людям после четвертого десятка шанс худо-бедно отличать одного от другого. В канун же ядреного, парного двадцатилетия, ну, разве отец, учитель природоведения Петр Захарович, или мама-домохозяйка, Анастасия Кузьминична еще могли, способны были определить, догадаться, которого ж из

двух паршивцев поглотила, приняла в свою душную, пряную мглу под старыми таежными кедрами вечерняя темнота.

Могли, но, увы, Петр Захарович летом тридцать девятого (когда вроде бы выпускали) вышел посреди урока "Лесостепи Сибири" на минутку за дверь и, мысль свою недосказав, просто исчез, а мама Анастасия, еще раньше под железной пирамидой с латунным штырем вместо креста была забыта среди берез и кленов старого, а тогда главного южносибирского кладбища, ну, в общем, ничего не мешало озорникам летом шестьдесят второго поочередно ходить к Синявину логу, хозяйским промысловым свистом и зверя смущать, и птицу.

Да.

Но отнюдь не темноокое существо по имени Валера, Валерия Караваева, что днем в отдельной комнате летом пустого дома охотников спала, либо солдатскими байками немца с французским литературным псевдонимом портила глазенки дивные, а ночью из лежебоки, чеховской героини превращалась в безумную и бесстыжую бестию, настоящее наказание, алым папиросы огоньком с ума сводившее дремучую, инсектами озвученную ночь.

Красивый, статный доцент, заманивший ее, бедную и доверчивую лаборантку, в романтическую экспедицию, оказался подлецом, заболел, задержался и вовсе не приехал, а второй, тоже ничего себе кобель, недели две улыбался аспирантке Любаше, прогулку подбивая совершить волшебную под синими звездами июньского меридиана, соблазнил, показал разок-другой дурочке Альфа-Центавру и Тау-Кита после чего, конечно, вспомнил о делах, о семье, собрал рюкзачок и был таков, свалил, оставив Любе, младшей научной Наташе и обманутой Валерии два ящика баночек, кои следовало к концу лета заполнить доверху (работая

исключительно в резиновых перчатках) разнообразными, но одинаково омерзительными катышами, катышками звериного помета, дерьма, прости Господи, попросту говоря. Но, нет, определенно, перспектива пополнить коллекцию биологического института томского государственного новыми видами специфических сибирских ленточных, круглых, а может быть, если повезет, конечно, чем черт не шутит, и плоских, гадких невыносимо, просто отталкивающих паразитов, не улыбалась лаборантке Караваевой, не возбуждала и все тут воображение возможность егерю Додду существенно сократить объем санитарных работ, лишала рассудка и чувства меры возможность заставить его, семижильного, не разбирая дороги, идти в рассветом разведенном молоке тумана, спотыкаясь, скользя, оступаясь и даже роняя в траву свое легкое необыкновенно, воздушное тело, которое неспособны оказывались, тем не менее, нести чужие, непослушные, слабые ноги.

В ситуации этакой, кажется даже самые строгие моралисты, блюстители нравственности согласятся, конечно, акт добровольного обмена телогрейками между егерем Колей и навещавшим его в то лето необычайно часто охотоведом Васей иначе как братским, исполненным великого милосердия жестом и не назовешь.

Но, впрочем, к середине июля трезвый расчет и осторожность взяли верх над безоглядным гуманизмом, любовью к ближнему, незнающей границ, мрачноватая сосредоточенность вернулась к Василию Петровичу, козлиная похоть уступила место к упорному труду зовущим мыслям о том, как старый мотоцикл сменить на новый, полуподвал на Арочной в квартиру превратить с уютным теплым туалетом, о том, короче, как в люди выбиться, а не уподобиться окончательно скоту неразумному. В общем ясно, последние едва ли не

полтора месяца пришлось легкомысленному Коле Николаю отдуваться практически в одиночку.

А посему ему же и выпало удовольствие кривой ухмылкой, невнятным звуком носовым приветствовать февральским утром буквально из леса, из небытия явившуюся снегурочку-Валеру в овечьем черном зипуне, особенности грубого мужского кроя коего, еще недели две, три пожалуй, позволяли не утруждать себя поисками связи между дурным настроением гостя и невероятным исчезновением изгиба деликатного, ложбинки нежной, талии, решившей, да, определенно путем кратчайшим стать от плеча к бедру. Но, честно говоря, и тогда, когда ужасающая неосмотрительность, непростительная и необъяснимая беспечность задорной лаборантки стали очевидны, огромное сердце потомка не то Пересвета, не то Беовульфа экстрасистолой, судорогой желудочков, волнением клапана метрального богатырское тело сил и жизнелюбия не лишило. Напротив даже, беззаботной алой кровью играло, согревало, веселило организм, апрельским свежим днем, когда в высоких жарких псовых унтах стоял егерь Николай на крыльце районного роддома и думал, щурясь несерьезно в лучах весеннего, пасхального светила:

"Была одна, а стало две".

(Господи, может быть, и впрямь врут богомазы, не пупсиками в розовых ямочках ангелам быть полагается, а за спиною мадонны им следует маячить, громоздиться десятипудовыми тушами надежного, добродушного, бычьего мяса?)

— Была одна, а стало две.

Увы, мадонна томская, Валера Караваева, как выяснилась вскоре, иные действия арифметические в уме произвела и результат у нее получился отличный несколько от очевидного.

Хотя, возможно, и действий-то никаких и не было, так, импульс, порыв, очередной соблазн бесовский. Скорее всего, короче, после посещения базара и коопторга у вокзала с водонапорной башней (а, может быть и водокачкой пристанционной, как буфет, сортир и мост ажурный, клепаный, прекрасный, словно аэроплан Авиахима) попросила молодая мать молодого отца остановить телегу, прыгнула на снег изъезженный и, не забыв стряхнуть желтые стебли прошлогодней травы, мимо грязного и несимпатичного уличного строения без окон и дырами зловонными вместо дверей пошла, направилась в само купеческих времен здание. Внутри, в помещении повела она себя странно и нелогично. Вначале как-будто бы озиралась, как-будто бы искала табличку, букву нужную, не нашла, вышла (зачем?) на черную, ледком подернутую платформу, сделала шаг, другой, и вдруг, решительно вложив ладони-лодочки в чьи-то белые конопатые лапы, услужливо протянутые из ближайшего купе прокуренного, оторвалась от убежать из-под ног уже начавшей земли и была такова.

Сиротство Доддам, похоже, на роду написано, но слава Богу, на этот раз хоть без детдома обошлось. А печаль, если кого-то и посетила, над кем-то крыла унылые распростерла и округлила коровьи глаза, то горемыкой этим оказаться суждено было Васе. Василию Петровичу Додду, председателю правления южносибирского областного общества охотников и рыболовов, годам к сорока, к пику жизненному и административному осознавшему вдруг с горечью и даже завистью в душе нехорошей, что улыбка милая плутовки ласковой, племянницы Валеры, Вали, ему, ворчуну, самодуру и зануде, приятней и дороже всех вместе грамот, пятерок и угрей с приданным в собственность доставшегося приемыша Сергея.

Но делать нечего, закон, конечно, был на стороне бывшего егеря, а ныне директора цеха мелкого опта при Южносибирском областном охотоправлении Николая Петровича, успевшего за исторические те два часа не только подбросить к вокзалу моральную разложенку с неустойчивой психикой, но и украсить по ее просьбе настоятельной каракулями жирности завидной сразу две, если не три графы толстенной книги регистрации актов рождения и смерти. Впрочем, гражданского уложения несовершеннолетие, юридическое неравноправие несколько не мешало дяде Васе баловать, усердием папашу Додда самого превосходя, пожалуй даже, родную кровь и плоть, на нет сводя, конечно же, усилия и кропотливый, повседневный труд не одного, увы, увы, педколлектива областного центра.

А возможности у него были, разве сравнишь председателя правления общества любителей осеннее небо

какого-нибудь укромного заказника, заповедника веером

дробно азартно дырявить, лихо, на звук палить, с директором,

распустившим донельзя десятка полтора горьких пьяниц

инвалидов, исправно, тем не менее, признаем это, тачавших из

меха малоценного пушного зверя шубейки детские и шапки

зимние с ушами, а порой и без?

Нет, определено, нет.

Ну, сказал Николай Петрович мастеру своему одноглазому:

— Валюха, Никанор, вчера явилась, — и ничего кроме

забот все той же Валюхе, Валерии Николаевне, умыть,

раздеть, уложить.

Та же самая фраза.

— Валюха наша, вот дела, вчера домой
воротилась, — с

такой же точно (и на слух их трудно различить)
довольной

интонацией сорвалась с уст уже иных, и, Боже, как
разволновался Печенин Альберт Алексеевич,
мужчина

солидный, двуногий, с глазами, всегда в несвежей
сорочке, но

"Свободы" ароматами благоухающий, галстуком
успокаивающий взор и поражающий воображение
алмазной

гранью трехрублевых запонок. Господи, Господи,
какая удача,

везение какое перед самым, по слухам, скорым
поступлением

партейки малой дефицитных стволов ижевских
вороненных.

— К нам, к нам, только к нам, Василий Петрович, — с
горячностью, ну, просто восхитительной повторяет
товарищ

Печенин, раз десять, пятнадцать, право, не меньше,
из

правленья не выходит — выбегает и мчит прямо в
телерадиокомитет, зама по кадрам в кабинет
приглашает,

штатное расписание подать немедленно велит,
волнуется, вне

всякого сомнения, ударить в грязь лицом не хочет,
по

ковровой дорожке прохаживается, ноготками
неостриженными по подоконнику стучит, трям,
трям, и...

решенье в конце-концов принимает
беспрецедентное.

Служебная мембрана телефонная преобразует
голос

одного ответственного лица в ток электрический, и
он, волею

гения человеческого в бесконечном проводе медном
в момент

любой возбуждаться обязанный, секунды не
прошло, уже

воркует, гармониками дивными обогащенный в
трубке

домашней, ласкает слух другого ответственного
товарища.

— Ну, ну, — не возражает Василий Петрович
Альберту

Алексеевичу, и к обеду следующего дня Валерия
Николаевна

Додд, неполных восемнадцати лет, образование
среднее,

несостоявшаяся студентка Томского
государственного

университета имени В.В.Куйбышева зачислена на
службу, на

должность взята, коей, утверждают, в природе не
было, нет и

не будет, и все же, редактора-стажера программ
для учащейся

молодежи и юношества.

С неясными обязанностями, сомнительным
статусом,

но жалованием, окладом достаточным вполне. Да,
для образа

жизни пусть скромного весьма, но независимого, ах,
впрочем,

не лишённого и некоторых неудобств, не без
изъянов мелких,

увы, нет совершенства под луной, под звездами
сибирскими, с

последними сомнениями на этот счет простишься,
когда

прелестным майским утром от пенья птичек, от
милого

чирик-чирик еще и пробудиться, проснуться,
оглядеться не

успел, а у тебя уже и перепонки барабанные
лопаются, и

голова трещит, и вылезают из орбит шары.

Ох.

Но в учреждении общественного питания, кафе
молочном "Чай" не напрасно Валера Додд сидела
целых

полчаса, свой воспаленный пищевод смягчая
общеукрепляющим продуктом, кашей манной,
размазней.

Испарины холодные приливы и отливы, урчанье
подлое внутренних органов совсем, конечно, не
уняв, однако,

и взор прояснили и плавность некоторую,
движеньям столь

необходимую, возвратили. Во всяком случае,
неловкое,

опасное, грозившее последствиями жуткими,
копанье

ковырянье вблизи, у края самого гнусного
масляного омута не

разлитием желчи разрешилось, нет, ложки
уверенным

маневром в окрепшей настолько руке, чтоб гадость
высокомолекулярную желтого, неаппетитного,

отвратительного цвета отправить из своей тарелки
в забытую

чужую, там омыwać остатки недоеденного кем-то
омлета с

ветчиной.

Итак, день начат. Из потной тоски липкого сна,
через

процедуры водные и океан безмолвный разваренной
крупы

проторен путь раскаяния к стакану прохладного
компота из

яблок мелких, сушеных, позапрошлогодних.

Уф.

Все, открывается дверь молочного кафе
(сменившего

не так давно название и профиль, но не успевшего
пока

ассортимент) и утро весеннее кумачевого месяца
травня

принимает и носик, и ротик, и глазки, короче, всю
кралю

целиком.

Оп.

Но фаталистов жалкую компанию, готовых
терпеливо

ждать под буквой "А" финальной рыбы шоферских
поединков,

она желания пополнить не демонстрирует вовсе,
подходит к

краю тротуара и... нет, выбросить руку, взмахнуть
ладошкой

не успевает. Какой-то бешеный "Жигуль", нос
срезав нагло

хлебному фургону, влетает колесом на низенький
бордюр и,

голубей вспугнув разноголосьем женским, невинно
замирает,
уткнувшись бампером в колени, самообладания,
ввиду
невиданного замедленья всех реакций, красиво и
неподражаемо не потерявшей Леры.

ЛЕША

Уф.

Воздушных масс волнение, сгущение, разрежение,
скрип, крежет, свист не разорвали дивное
пространство на
жуткие и мрачные куски. Отнюдь нет. Бесцеремонно
взболтанный эфир в мгновение ока обрел
утраченную было
весеннюю прозрачность, и всяк полюбоваться смог
героем
дня.

— Ну, что, попалась? — изрек мерзавец
беспардонный,
небрежно локоть положив на белую (цвета
колониальных
трофеев — сафари) крышу лихого своего,
отчаянного аппарата.

Впрочем, вовсе не нового, местами ржавчиною
тронутого, с
багажником, непристойно откляченным, задранным,
а носом
же, наоборот, чего-то вынюхивающим,
высматривающим в
серой дорожной пыли, без бампера заднего, с
трещиной,
расколовшей ветровое стекло, но тормозами,
тормозами
отменными, чему мы все, слава Богу, живые
свидетели.

— Гы-гы, — звуком радостным, торжествующим, нос

гаденыша сопровождал растекание ухмылки, улыбки

порочности беспримерной по его, не лишенной приятности,

смазливой даже, пожалуй, физиономии.

Нет, нет, подобным образом девушку приличную, блюдущую себя и честь дома, не приветствуют. Не на всякую,

уверяю вас, курносую и голенастую позволено было даже

Диме Швец-Цареву, Симе, исключительно наглому субчику,

младшему сыну секретаря городского комитета одной

влиятельной организации общественной, племяннику

начальника областного, абсолютно неподкупного управления

вот так по-хамски наезжать среди бела дня.

М-да, как ни старалась Валера, какое благоприятное впечатление она иной раз ловко ни производила на поколения

иные, гнусные ее сверстники никак забывать не хотели,

отлично помнили, все как один, и не звездные часы школьных

спартакиад, не то, как появилась ее фотография (глаза бесенка,

легушачий рот), а, увы, то, как в одно обыкновенное, прохладное утро исчезла со стенда "Спортивная слава", после

себя оставив лишь стойкий серый уголок, который ноготь

завуча товарища (товарки?) Шкотовой сердито исцарапал, но

подцепить не смог. Что ж, нравится-не нравится, но ладную и ловкую девятиклассницу Валеру Додд из школы третьей, центральной, престижной, за аморальное, ни больше, ни меньше, поведение выгнали, выставили, выперли, в общем, перевели по настоятельной просьбе родителей (папаши Додда, разумеется, в единственном числе) в обыкновенную среднюю общеобразовательную школу номер семь. Ну, а смыть пятно, очиститься не так-то просто оказалось, да, ни умение внезапно открывшееся быть независимой и гордой — способность смотреть поверх голов, ни улыбка достойная, с легким оттенком презрения, даже синева непроницаемая глаз — ничего не помогало, все равно они, гады, щурились, и щерились, и языками мерзко цокали, и продолжали подкатываться к ней с розоватыми отмыслями однообразия белками. Впрочем, так ли уж старалась Валерия Николаевна очистить себя от скверны, так ли уж безупречна была ее последующая жизнь и поведение? Как, например, прикажете понимать вчерашнюю безобразную выходку, попойку отвратительную, гнусную, в компании подонка всем

известного Симы Швец-Царева и двух дружков его,
братишек

братцев Ивановых, Павлухи и Юрца?

Что тут ответишь?

Всему виной почтовый ящик, три черных дырочки
сестрички, сквозь кои лишь сквозняки подъездные
гуляют,

или, случается, что горше и обиднее намного,
надежды белый

язычок смутит, и глупо и напрасно заставит
ускорять шаги,

кидаться к двери унылый номер очередной газеты
местных

пролетариев "Южбасс".

Вобщем так, без двух недель ровно два года тому
назад в сумрачном узком переходе запасном,
соединявшим (на

случай пожара, наводнения, иного бедствия
внезапного

стихийного) второй этаж школы со спортивным
залом, стан

изогнув с известной грацией зоологической и брюк
кримплен

сирийский немалоу подвергнув испытанию, стоял в
скандальной позе немолодой уже мужчина, глаз
оторвать не в

силах, отвести от скважины замочной, вполне
обыкновенной.

С той стороны двери, в пределах прямой видимости
и

слышимости господина, подмышек стойкий аромат
распространявшего, на черных матах ученица
девятого "Б"

класса Валерия Додд, капитан школьной
баскетбольной

сборной и выдающийся десятиклассник, любимец
всех

физичек и химичек, молчун и умница Алеша Ермаков
дышали

нежно в унисон, какие-то слова при этом лепеча
забавно.

Щеки соглядывая, позвольте, кстати, представить
вам

директора третьей специализированной (с физико
математическим уклоном) школы Георгия Егоровича
Старопанского, наливались багровым соком
нетерпения,

крестец отличника народного образования к
подобным

упражнениям, конечно, привычки не имевший,
затяжелел

неимоверно, и тем не менее, распрявился Георгий
Егорович, лишь досмотрев, лишь дождавшись
шепота,

шуршания одежд, зыркнул гневно на явно
томившегося

(возможно, впрочем, показалось) за его спиной
Андрея Речко,

Андрея Андреевича, учителя физкультуры, и уж
затем, без

всяких, право, уже не нужных церемоний растворил,
иллюзию

уединения все это время создававшую, но не
закрытую на

ключ беспечными Валерой и Алешей дверь.

Сему изделию неизвестного плотника судьба, как
видно, нисколько не смущаясь избитости приема,
назначила

сыграть роль особую в жизни двух юных искренних
существ.

В феврале, месяца за три до того, как парочку, сопя и брызгая
слюной, так унизительно попутал в прекрасный миг
заслуженный учитель РСФСР, в переходе узком,
соединявшим
второй этаж со спортзалом (что в этот момент
героям нашим
известно не было, поскольку тесный коридор
использовался
только и единственно, как черный ход в
лабораторию
химическую) стоял Алеша Ермаков, немного
одуревший от
запахов и газов, сопровождающих, как это водится
обычно,
процессы бурные соединения неорганических
веществ, стоял
и пальцами перебирал домашние ключи на
металлическом
кольце.
За дверью, ведущей на второй этаж, слышно было,
как
привычная и бойкая развозит швабра грязь от стыка
к стыку
уже изрядно истертого, ненового линолеума, а вот
из-за
второй (унылой, без нарисованного котелка и очага)
доносились равномерные и загадочные, сочные,
гулкие удары
предмета, сказать определенно можно было только,
сделанного из резины, о дерево, металл и кожу.
Однако (гордись, возрадуйся наука пополнению)
даже
азарт исследователя, страсть к неизведанному
естествоиспытателя, не заставили, нет, нет, Алешу
Ермакова,

красу и гордость школы номер три, подобно
наставнику,
известному нам, молодежи и юношества, спину
гнуть, колени
пригибая, к холодному металлу припадать. Был
выбран ключ
на связке голубоватый, длинный, с разновеликими
проточками, и он с похвальной, редкой, право же,
отзывчивостью, охотно щелкнул пару раз в замке,
внимания
такого к себе не знавшим, не ведавшим давно, да и
не
чаявшим уже, пожалуй, заслужить.
Чисто механическое совпадение, гармония
ньютонова
шпенька, бородки и пластинок, работа, строго
равная
произведению силы на путь, а в результате что? как
всегда
исчезновение детерминизма, насмарку система
хитроумная
Георгия Егоровича Старопанского, саму
возможность
исключавшая не то чтобы контакта, а просто
встречи лицом к
лицу детей к наукам точным, естественным
божественную
склонность проявивших с районной шантрапой,
балбесами,
которых новатор-педагог держать обязан был по
прихоти
нелепой ГОРОНО в одних стенах и под одной, как ни
печально, крышей.
За дверью играли в американскую игру,
тренировались, но не все, не все дубили шершавые
подушечки

пальцев пупырышками апельсиновыми рыжими,
прима,

Валера Додд с подругой-одноклассницей Малютой
Ирой

заодно, валялась на черных матах в укромном
уголке,

кармане, закутке, чуть-чуть филонила, немного
шланговала, не

развивала, нет, свой необыкновенный дар,
способность

удивительную, и некоторую ленность искупавшую и
нежелание бегать, носиться по площадке, в кольцо

с
отменным хладнокровием (дочь охотника?) пузырь
прыгучий

отправлять из положения практически любого под
неприятельским щитом.

Ирка тараторила. Уже в ту пору ее роман с
подонком

Симой, скотиной Швец-Царевым, невероятной
сложностью

интриги всеобщий интерес питал и требовал,
конечно, немало

слов и знаменательных, и служебных (не говоря уже
о воздуха

игре причудливой и невербализированной) для
изложения

всех, иной раз просто невероятных, перепетий и
драм.

Беседой увлеченные, понятно, не в миг потери
оплошности, секунду превращения стены
привычной части в

щель, проем, гулять пустивший сквознячок веселый,
заметили

две балаболки феномен. Это само собой разумеется.

А вот Алеша, Алексей, как он сумел, в открывшееся

перед ним внезапно искусственного света полное
пространство пыльный кинув взгляд, сейчас же
узреть под

самым своим носом конечностей прекрасных
совершенство,

столь откровенное вдали от надоедливых,
нескромных глаз.

И тем не менее, песчинок унция, другая успела
прошуршать из верхней колбы хронометра
вселенского во

мрак бездонный нижней, прежде чем вся троица
смешно и

неожиданно лишилась дара речи.

Ну, да ладно, Ермаков, тут, право слово, причины
были, а вот девицы — оторви да выбрось, нахалки
малолетние,

их чем же, позволительно спросить, очаровал
высоколобий

претендент на золото медали выпускной?

Наглостью. В уголке его рта, между холодной,
неподвижной верхней губой отличника и нижней,
беззащитной мальчишеской, пухлой и розовой,
качнулась и

замерла, столбик серого пепла грозя рассыпаться,
уронить в

любую секунду, о, святой и безгрешный Антоний,
Антон

Семенович, покровитель всех высших и средних,
исправительные не исключая, конечно же,
учреждений и

заведений, она, до половины истлеть не успевшая,
вызывающе

длинная, немислимая, недопустимая, но вот вам
сюрприз,

сигарета болгарская с фильтром.

Боже.

— Пардон, — пробормотал, приятным румянцем щеки

согрев, смущенный несколько Алеша и притворил тотчас же

дверь, но не успел вась-вась железок звонких щелчками

быстрыми еще раз подтвердить.

Сократились парные и непарные, плоские, широкие, икроножные и тазобедренные (похоже, все-таки разминка

носоглотки скорее исключение невинное в часы вечерних

тренировок) тень, белая футболка, мелькнула быстрая в

интимном закутке спортзала.

— Тук-тук, — услышал Алексей, — тук-тук, — его определенно, явно просили не спешить.

— Тук-тук, — не бойся, негромко косточки, костяшки пальцев вынуждали вибрировать эмалью белой крашенное

дерево.

— Ну, что? — спросил он, свет вновь впустив в свой узкий коридор, и растерялся снова, и замолчал, такого блеска,

таких вот карих и беспутных огоньков, нет, не дарил ему еще

никто, нет, даже с мимолетным поцелуем в прихожей темной

и пустой среди вечеринки классной развеселой.

— Дай-ка, — шепнули незнакомые губы и раскрылись в

улыбке неожиданно свойской, славной и необидной.

— Дай-ка... дернуть разочек.

Чудесными деталями явления этого внезапного четыре месяца спустя не стал отягощать Алеша подробностей

и без того разнообразных груз, доставленный из
школы
прямиком домой Галиной Александровной,
родительницей,
мамой. Он вел себя благоразумно, и тем не менее,
интеллигентная женщина, кандидат исторических
наук,
доцент, лектор общества "Знание", пропагандист, о
Бог ты
мой, пыталась и неоднократно его ударить по лицу,
коварно,
без замаха, но с оттяжкой, чтоб вышло побольней.
Сынишка, не признать того нельзя, ославил маму,
опозорил и.о. заведующего кафедрой истории и
теории самого
передового в мире учения, подвел, подвел, но
состояние
аффекта, першенье в горле, членов дрожь,
нечеткость
силуэтов, их радужный дразнящий ореол, все это
если
движений резкость, алогичность хоть как-то
объясняет, то
кровожадность изощренную, тевтонское упорство в
достижении цели ни в коем случае, конечно.
Что ж, Галине Александровне, женщине с
анемичными губами, скругленными разводами
морщинок
ранних к подбородку, просто нравилось бить по
лицу себе
подобных, по щекам, по губам, и по уху нравилось,
звук
удовольствие доставлял, чмок неупругого
соударения,
сенсация ее еще довольно ладное (о коже суховатой
на время

позабудем) тело наполняло радостью, бодрящей,
освежающей
радостью жизни.

Но увы, увы, в бесклассовом нашем обществе,
пусть

с пролетарскими, но все-таки условностями,
нередко, да как

правило, обиду выместить так незатейливо и
просто,

утешиться, возможности Галина Ермакова лишена
была. Чем

не пример один июльский день не то пятьдесят
четвертого, не

то пятьдесят шестого, когда давясь настойкой
разведенной

валерианы, студентка юная, гуманитарий, с
мучительным

желанием боролась по голубой щетине мерзкой с
размаху

смазать, по серой, безразличной ко всему щетине
полковника

Воронихина, Александра Витальевича, начальника
немалого в

системе томских учреждений пенитенциарных. Как
он мог,

как он смел, ее, деточку-Галочку, любимицу
младшенькую,

свою хозяйку, госпожу, так подло, так по-свински
бросить,

отдать на растерзанье всему свету.

Гад.

Да, сама, сама Галина Александровна выбивалась в
люди, хлебнула, навидалась, не то что братец ее
старший

Константин или сестра Надежда, баловни судьбы,
успевшие

урвать достаточно, пожировать неплохо на
довольствии, под
крылышком народного комиссариата дел
внутренних,
секретных и совершенно секретных, с грифами
"хранить
вечно".

Ну, а Галке, бедной Галке самой даже голову
пришлось искать человеческую, чтобы глазами,
зеркалом

души любоваться, когда в сердцах и без
предупреждения

кухонной тряпкой так захочется проехаться от уха
до уха.

Собственно, таких, всегда готовых гнев ее принять
смиренно, у Галины Александровны имелось две.

Белокурая,

дивная дочки Светочки, цветочка, лапушки, лишь
поцелуями

нежнейшими, сладкими, сахарными осыпалась. Ну, а
уж

Валентин Васильевич и сынок его, Алексей
Валентинович,

Ермаковых парочка, всем остальным из арсенала не
слишком

уж изысканного жены и мамы.

Терпели оба, молча, стоически, всегда.

Тем поразительнее случившееся в тот майский
вечер,

предлетний день, когда привыкший лишь очи долу
опускать

Алеша, Алексей, от первого удара сумел счастливо
увернуться, а прочих же (ах, бедная Галина
Александровна,

ах, несчастная мать) да попросту не допустить.
Руками,

пальцами в отметилах от маркого шарика ручки
копеечной, он

вдруг внезапно, сам себе не веря, в полете запястья
неуемные

поймал и удержать с трудом, но смог, на
безопасном

расстоянии от себя, покуда истеричке угодно было
беседу с

ним родительскую продолжать. Беседу, коя по сей
причине

неожиданной обернулась для мамы дорогой серией
невыносимо унижительных, бессмысленных
конвульсий.

В противоположность мамаше растленного, папаша
прелюбодейки подобному сомнительного свойства
испытанию

свои отеческие чувства не счел необходимым
подвергать.

Хотя товарищ Старопанский и наперсница его, завуч
с

фамилией морской и бравой, правда глазами
неромантичными

совсем, непарными, увы, и сизыми, Надежда
Ниловна

Шкотова, на пару никак не меньше двух часов,
дыхание не

переводя, пытались в нем пробудить суровости
дремучие

инстинкты.

Не вышло. С детьми не совладав, два педагога
лауреата и с папой Доддом пообщавшись, лишь
нервную

систему свою собственную опасно возбудили.

Дома, застав готовую к чему угодно Леру в кухне,
Николай Петрович некоторое время молча и с
известной

обстоятельностью изучал нежно булькавшее
содержимое
утятницы, хмыкал, щурился, любясь процессом
размягчения
крольчатины, и уже только опуская крышку,
заметил без
строгости особой, впрочем:
— Морковки, Валя, положи побольше.
Затем он сделал то, чего не делал никогда до этого.

А

именно, в столовой, в той самой комнате, где на
диванчике

Николай Петрович забывался ежевечерне сном
перед вечно

рябщим ящиком "Березка", он стол облагородил
единственной, но стараниями Валеры всегда свежей
скатертью, на середину коей, на шершавый крест,
бутылку

выставил "Розового десертного" и к ней уже
присовокупил, с

улыбкой странной, необычной, не свой стаканчик
неизменный

с названием смешным "мензурка", а два, да, два
зеленых

торжественных бокальчика.

За ужином папаша подчевал Валеру рассказом о
новом карабине системы "Барс" брата Василя, и
судя по

всему, остался доволен и собой, и кроликом, но,
главное, был

умилен, и даже умиротворен впервые явно заставив
дочку

испытать и легкое отвращение, и приятное
недоумение, и

движений забавную неловкость, и безобразие
зевоты

непрощенной, неодолимой.

Утром он, как бы между прочим, сообщил своей голубе следующее: учебный год для нее завершился на две

недели раньше срока, новый начнется, как обычно, в сентябре,

но не в третьей, а в седьмой, без всяких уклонов, прихватов,

претензий, обыкновенной общеобразовательной школе, ну, а

сегодня, часа в три после обеда заедет на своем ульяновском

"козле" дядя Вася:

— Особо сидор не набивай, навещать буду, — и увезет на

лето к тете Даше, Дарье Семеновне, учительнице сельской,

сестре двоюродной медведей Доддов, в избе которой, кстати,

Лера провела два первых года своей жизни.

Нелюбопытным, в общем, оказался папаша нашей милой героини.

Но думать не следует, будто бы на свете так и не нашлось души, готовой выслушать по-родственному признаний жаркие слова:

— И тут он, знаешь, так серьезно-серьезно говорит:

"Ах, ты просто ничего не понимаешь, Валера, ведь я же

Маугли, зверек, волчонок".

— Ну, а ты, что же ты ответила? — глаза Стаси, сестры

молочной, дочки тетидashiной смотрели из-под стекол

единственных в семье очков с сомнением и чувством вечного,

как бы родительского (с оттенком жалости такой, печали)

превосходства:

— Ты что ответила на это?

— Ничего. Ничего, сказала, что я кошка, черная кошка, мяу.

Ах, Стася, ровесница, студентка ныне института культуры, как ей хотелось, Боже мой, увидеть, разок один

взглянуть на этот феномен, если не врет, конечно же,

сестрица, красавец, умница, отличник и Лерка, "зараза

чертова", — как выражается изящно мать, сердясь и удивляясь.

Хотелось, очень, да, но судьба, вернее будет, впрочем,

физиология, распорядилась по-другому.

Ровно за два дня до того, как из перегретого летним солнцем пазика у леспромхозовского магазина, неловко

щурясь, вышел улыбчивый, застенчивый, уже студент

биологического факультета Томского государственного

университета, Алеша Ермаков, бедную Стасю сосед на

зеленом "Урале" свез в районный центр, где девочке очкастой,

худышке угловатой и заносчивой, нетрезвый эскулап оттяпал,

недолго думая, взбесившийся, должно быть, сослепу, кишки

отросток.

Итак, около трех часов пополудни, в один из дней

потного, душного августа, вслед за небритым
мужиком,
Антоном Ерофеевым, умудрившимся в рейсовый,
белый с
красной полосой автобус загрузить окалиной
припорошенную
связку тонких металлических труб, по узким,
резиной еще
крытым ступенькам сошел и на лишенную
домашней
скотиной гордой прямизны траву ступил
разношенным
сандалом польским (сначала одним, потом другим)
занятный
молодой человек приятной городской наружности.
Приезжий определенно намеревался закурить, дабы
взбодриться, осмотреться и путь единственно
верный выбрать,
но нет, спичке балабановской фабрики "Гигант" не
суждено
было воспламениться, соприкоснувшись с
коробочкой
родного предприятия, да, прямо перед собой, тут
же, сейчас
же, здесь же, на родном крыльце торговой точки
симпатичный
юноша узрел, увидел то, ради чего он сутки коротал
в дороге,
батона белого кусками суховатыми очередную
сотню
километров заедая, а именно, ситцевого платья
наглое
великолепие, нахальных глаз чудесный блеск и
возмутительной улыбки (нужны ли тут слова?)
простое
торжество. В руках его милая Лера-Валера держала

обыкновенную стеклянную банку, сосуд с болгарским сливовым компотом, единственным деликатесом и вообще товаром в ассортименте скудном таежного сельпо, противоестественное пристрастие к коему вызывало у населения поселка, охотников и лесорубов, предпочитавших заморскому продукты домашнего соления, копчения и возгонки, неясное чувство тревоги за будущее Отечества и ценностей его неприходящих.

— Ты?

— А ты думал, кто?

Несчастливая "Стюардесса" в руке Алеши гнется, ломается, теряет желтый мусор драгоценного содержимого, отделившийся фильтр пропадает в истерзанной осоке, а полупрозрачная белая трубочка превращается в идеальный снаряд для бесшумной дуэли посреди урока географии.

— Долго плутал?

— Да нет. Твой отец объяснил все подробно... я же звонил... два раза по автомату... знаешь, за пятнадцать копеек...

— Не знаю, — отвечает Лера и оба начинают смеяться, глупые и счастливые дети.

Не сказал, ничего не стал говорить, не поделился, этот

крик, этот визг, си взволновавший третьей октавы светкиной

"Оды":

— Мерзавец, гад, — при себе оставил, не стал вспоминать, как лишенная свободы движений женщина, мать,

преподаватель высшей школы, просто плюнула слюной

горячей, едкой, белой, ему в лицо.

И он, конечно, выпустил ее, но не кулаком сейчас же получил по физиономии, а коленкором тетради общей

"Лабораторные по физике", единственного увесистого,

способного расстояния значительные преодолевать предмета

из всей той кучи тетрадок и листочков, кою сгребла мамаша в

приступе безумном со скромного стола ученического и с

воплем жутким:

— Убирайся вон из моего дома, — запустила в ослепленного и оглушенного сыночка.

Запустила, и так прокляв на веки, начала падать, оседать. Взмахнула рукой, качнула этажерку, отправила на

пол скрепок московских разноцветную баночку, костяшками

другой, зацепиться как будто даже и не пытаюсь, по оголившейся столешнице безвольно провела, и на бумагу, еще

дрожжать, шуршать не переставшую, упала, опрокинулась,

легла.

Пух.

Да, не готова оказалась к внезапной попытке

возмужания отпрыска Галина Александровна,
импровизировала буквально на ходу, но
исключительно

удачно, во всяком случае негодник не где-нибудь
оказался, а

на коленях подле нее, слова, секунду, может быть,
всего назад

в его устах немыслимые просто, в волненьи
страшном

повторяя:

— Мама, мамочка, что с тобой?

Нет, скорую она им вызвать не позволила. Чередой
размеренных, злых и коротких импульсов,
предсердья

метрономом хладнокровным потешить лекаря,
пропахшего

бензином и бессонницей, а вслед за ним и всю
горластую

конюшню ординаторской Галина Александровна не
собиралась. Она хотела одного — услышать звук
молниеносного соприкосновения резцов, клыков и
коренных,

она хотела, должна была любой ценой, немедленно
и

непрерывно, убедиться в своей способности
испуганную эту

ноту извлекать.

И что же, когда отец и сын укладывали маму на
кровать, она, сознание как будто обретая на
мгновенье, вновь

приподнялась на локотке и, наградив отличника,
красу и

гордость третьей школы словцом неласковым:

— Подлец, — в движение его челюсть ударом
хлестким,

ловким, точным привела, и он, не то чтобы
препятствовать

посмел, несчастный и отвернуться даже не
попытался.

И не обмолвился, ни слова не сказал, не выдал
тайну,

воспользовался просто родительским вояжем,
отъездом

ежегодным на воды, и сорвался, спокойный,
уверенный

никто, никто исчезновенья не заметит, внезапно не
нагрянет,

березовый, бутылочный, зеленый сумрак не спугнет
в

панельной, однокомнатной хрущевке на улице
кривой,

неправильной, в старинном городе губернском
Томске, в

квартире, ключи от коей выдала племяннику, на
пару дней для

процедуры этой сезона дачного спокойный
распорядок

специально изменив, такая непохожая на мать,
приветливая

вроде бы и добродушная как будто, Надежда
Александровна,

родная тетя.

Да, явился, прикатил, познавший радость

незамысловатых па уан-степа, он возвратился, он
приехал,

веселье дерзкое вкусить раскрепощающих
движений

волшебных танцев — танго и бостона.

И вновь с ним вроде бы все ясно, но вот она, эта

ловкая и гибкая бестия, книгам предпочитавшая
кино, а

разговорам долгим поцелуи, она, почему, увидев
юного
студента, роскошной челкой летней беззаботной на
нет
сумевшего свести высокий, круглый лоб, она,
девчонка
хулиганка, отчего не спряталась, не улизнула, не
исчезла в
сельпо — тазов и ведер капище железных,
оловянных, бочком,
бочком, не возвратилась, из-за решетки, едва
проваренной и
паучком стыдливо и наивно скрепленной паутиной,
с
ухмылкой нехорошей наблюдать, как невезучий
дурачок,
бычок свой дососав, нелепо топчется, вершков
остатки
жалкие сминая, и Ерофея, присевшего у
драгоценных своих
труб, распросами нелепыми из равновесия выводя.
Ведь ей же нравились еще недавно, желанны были
и
милы совсем другие. Долгоногие лыжники,
короткопалые
борцы, здоровяки, атлеты, хамы, которых и приятно,
и легко
водить за сапожки носов нечутких, гонять в буфет,
морить
напрасными часами ожидания, игрою незатейливой
в тупик
отчаянный загонять, все, что угодно, не дай лишь
Бог
неосторожно в угрюмом темном коридоре у
раздевалки

баскетбольной в суровые объятия в час поздний
угодить.

Да, да, Валере нравились другие. И ей самой
казалось

так. Вот ее мальчики, самоуверенные недоумки,
лопоухие

драчуны. Казалось, да, покуда февральским
вечером

негаданно-нежданно из озорства, шая и балуясь,
она, и вкус,

и запах не любившая в ту пору, уже успевшая
однажды

слюнных желез запасы истощить в попытках
выплевать

мгновенно скисшую, противную наредкость горечь,
к двери,

проворно затворенной, без долгих размышлений
прыгнула,

метнулась, и юношу из-под ресниц чудесных,
золотистых, с

таким забавным недоверием взглянувшего, без
всякого

стеснения, так запросто, как закадычного дружка,
земелю,

попросила:

— А ну-ка, дай разок, другой дернуть.

(Давненько что-то я "Опала" не курила).

Но, впрочем, шалостью, забавной несуразностью

Валера увлечение свое внезапное считала и тогда,
когда уже

без стука и предупреждения, обычным образом, из
коридора

через класс (предусмотрительно не запертый) она
входила

каждый вечер в обставленную необыкновенно,
немецкой

мебелью специальной кафельной (гордость шефов
коллектива южносибирской ГРЭС) лабораторию
химическую,

беззвучно забиралась на высокий, нелепый,
колченогий стул и

сквозь прозрачную перегородку смотрела на
спиртовки

огоньками синими таинственно подсвеченные веки
Алеши

Ермакова, отличника, красавчика, готовая, конечно,
как

только подымет он глаза, как только оторвет от
колб своих

дурацких и реторт, ему тотчас же показать
невероятно

длинный, острый, красный, бессовестный язык.

Такая вот чертовка, шалаболка, и кто бы мог
подумать, что разлученная с голубчиком, она начнет
печалиться, грустить и прежних лет такие
развлечения

желанные, прогулки, скажем, на моторной лодке в
компании

отчаянных ухарей, соляжкой пахнущих, лихих и
конопатых, не

будут больше девичье сердечко весельем
ненормальным,

диким наполнять.

И уж никак не ожидала Стася, что через ночь, а то и
кряду две, и три в начале первого едва лишь
придется ей

прощаться с высоких чувств и слов прекрасным
миром и

книгу закрывать, и свет гасить, вот так сюрприз,
безумная

сестра Валера не рвется, как обычно, стыда не
ведая и меры,

испытывать стогов высоких, свежих, темных
мягкость под
сенью чудного кухонного набора "Пара мишек" свою
находчивость и ловкость проверять, увы, под самым
носом
лежит вот и сегодня, невинно щурясь, огорченная
как будто
бы всего лишь невозможностью в страну неверных
сладких
грез отбыть без промедления.
Кстати, хотя знаток великий детских душ, пастырь,
наставник юношества строгий, Егор Георгиевич
Старопанский
в беседе с руководительницей классной Валеры
Додд Анютой,
Морилло Анной Алексеевной, и употребил разок,
другой без
всякого сомнения и смущения, лишь не переставая
удивляться
той неизменности, с которой тик обнажает верхний
ряд зубов
у безнадежно старой девы, словечко мерзкое
"шлюшонка", а
мама нашего героя, женщина с университетским
дипломом и с
синим остробоким поплавком, вводя сестру
Надежду в курс
дел семейных, назойливых шуршунчиков обычных
телефонных нисколько не стесняясь, речь уснащала
совсем уж
жуткими глаголами из лексикона неистового
протопопа,
Валерия Николаевна Додд, Лера, до встречи
удивительной с
Алешей Ермаковым, еще ни разу, да, да, да, ни разу,
прожив

на этом свете уже шестнадцать полных лет, не
пробовала роль

подростковую субъекта на женскую извечную
объекта

действия сменить.

А возможности были, и отрицать сие нет смысла.

Однажды над собой контроль внезапно потерял не
одноклассник даже, смущенный сумерек
сгущением, не

обалдевший от речного воздуха сынок механизатора
стахановца, а сам Андрей Андреевич Речко, крепыш
ушастый,

учитель физкультуры, любимый тренер.

Перед финальным матчем спартакиады школьной
областной в Новокузнецке он, надо же, в полночный
час ее

застал в пустынной душевой. Девичье розовое тело
в горячих

и шальных плескалось струях, не по-дневному из
черных

дырочек неровных уныло каплями сочившейся воды,
а

вырывавшейся, хлеставшей, бившей.

О, честное слово, он хотел удалиться, выйти,
бежать,

исчезнуть, но вместо этого, Бог знает почему,
мочалку, мыло,

полотенце на облупившуюся рыжую скамейку
положил и

молнию немецкой олимпийки стал разводить
замочком синим.

Паршивка же, срам прикрывать не думая совсем,
лишь фыркнула, откинула со лба дурную прядь, из
пены

водопада вынырнула и, глядя педагогу в очи,
негромко, но

уверенно, шутить не собираясь явно, пообещала:
— Я так сейчас орать начну, Андреич, так заблажаю,
что слышно будет даже в Южке.

Вот так.

Глаза закрывать и смеяться, да, да, нелепым,
неуместным образом комочек горловой выталкивать
на

волю, ее заставил человек, лишенный бицепсов
свирепых и

образцово-показательной брюшины, совсем
неопытный

парнишка-книгочей.

— Ты чего, что-то не так?

— Нет, ты молодец, молодец, Алешенька.

Через неделю пришло время забирать Стасю и они
поехали вместе, все на том же "Урале", зеленом
лягушонке.

Валера в люльке, а Леша на скрипучей, неласковой
беседке, да

и то лишь благодаря исключительной работе на
сжатие,

кручение и разрыв резинового, в живот ему с
остервенением

необъяснимым всю дорогу отчаянно и злобно
целившего

черного кольца.

И вновь не повезло серьезной, целеустремленной,
хорошей девочке (библиотекарем решившей стать)
Анастасии.

Не доехал Алексей до больницы.

— Эй, ты, — лихач рыжеволосый прокричал, у
старого

вокзала тормозя, осаживая вдруг свой
трехколесный вездеход,

— никак твоя электричка.

Короче, не увидела, в глаза не заглянула, и ныне в

растерянности совершенной пребывает, после того,
как два

семестра, борясь с чудовищной зевотой, не сыну, а
мамаше

смотрела честно в рот. Доценту Ермаковой Галине
Александровне.

А, может быть, и наоборот, кто знает, в приятном
состоянии, что характеризует превращение
невинной толики

таежного высокомерия в непреходящее и
всеобъемлющее

чувство превосходства над публикой нелепой
городской.

Ну и ладно.

Итак, зеленая пыльная электричка уже ждала
Алешу

на перроне, без всякого стеснения, цинично,
приглашая из

тамбура зловонного прощальный кинуть взгляд на
девочку

Валеру, которая бежать во след стучать начавшим
буферам,

конечно же, не пожелала, зато успела нахально и
бесстыдно

подмигнуть.

Адью.

Гуд бай.

И тут, как будто бы, сама собой напрашивается
точка.

Двадцать шестого августа Валера вернулась в

Южносибирск, в привычный круг знакомых рож и
глаз, в тот

самый, где представление о ней, как о
любительнице игр

опасных и ощущений острых давно уже сложилось,
бытовало

и после неприглядного скандала, оргвыводы
имевшего

известные, определенно, не подлежало пересмотру.

Значит так, двадцать шестого августа она
вернулась, а

третьего уже, представьте, сентября, ее, шалунью,
захмелевшую слегка на именинах развеселых
подруги милой

Иры, не то галантно проводить пытались, не то во
двор глухой

нечаянно завести два наглых лося белоглазых,
братишки

Ивановы, в ту пору, впрочем, еще не смевшие
персты ломать

и длани тонкие крутить прекрасным дамам, во тьму
несоглашавшимся идти походкой легкой. Первые,
заметить

следует, в сибирском нашем далеке обладатели
незабвенных

полуботинок "Саламандер" на каучуковом ходу.

Но ничего им не обломилось. Ни старшему,

гладколищцу и очень простому, еще месяца два

Валере

досаждавшему ночными телефонными звонками, ни
угреватому уроду младшему, желтозубому
дегенерату,

однажды подловить ее сумевшему в нелепом месте
на

Гагарина, где часовая мастерская соседствовала с
женской

консультацией.

Да, кое-кто обманулся той осенью, не только
парочка

жлобов, но и субчики потоньше, понаблюдательнее,
и те

поверить не в силах оказались в возможность
внезапной

перемены характера девицы такой общительной,
невероятно

бойкой, и от того не одному обиженному чудилось,
что

смесью жуткой гнева и презрения волокна
миокарда, напитава

столь многих праведных сердец, плутовка Лера
решила просто

осмотрительнее стать, иначе говоря, подлей, хитрей
и

вероломней.

На самом деле, девочка Валера изменилась весьма
своеобразно. Некоторый прилив доселе ей не
свойственной

совсем мечтательности, она таким ехидством
замаскировала,

такой насмешливостью скрыла, какую, право, не
будь она

милашкой красногубой, умевшей брючки синие
"Монтана"

эффектно в сапожки на шпильке итальянской
заправлять, ей

не простил бы, нет, никто и никогда.

Раз в десять дней примерно, случалось даже чаще,
из

ящика почтового вместе с "Южбассом", унылым,
желтым,

неприглядным, (несвежим, в общем, еще до
подписания в

печать) Валера извлекала конверт с квадратиком
условной

марки, гашеной суровым дегтем черным томского
почтового

штемпеля.

(Невероятное явление само по себе, между прочим, ибо до той поры лишь домоуправление состояло в переписке с

жильцами из номера второго по Кирова, 17а. Тов. Додда имел

обыкновение мордатый пергидрольный аноним ежеквартально

бумажкой бесстыдно озаглавленной "перерасчет" уведомлять

о своих вечных и прискорбных неладах с арифметикой.)

Итак, конвертов белых пермской фабрики "Госзнак" с

ландшафтами цветными любимой родины знавать еще не

приходилось стальному ящику с тремя отверстиями круглыми

и надписью фабричной "Для писем и газет".

Стеснительный отличник, улыбчивый молчун, биофизик вдумчивый, Алеша Ермаков, он оказался однолюбом.

Послания его, как и речи, и это очень нравилось спортсменке бывшей, пространностью особой, многословием

не отличались, и тем не менее, именно они питали, постоянным делали ощущение чего-то славного, смешного,

необычного, то чувство, которое Валере случалось всякий раз

переживать, когда она из коридора светлого беззвучно

проникала во мрак таинственно подсвеченной лаборатории

химической.

Почти всегда это были открытки, но не цветы, не

зайчики, не флаги красные над башнями
кремлевскими, нечто

(впоследствии он рассказывал, как заходил в
старинный

книжный магазин на улице горбатой и, повинувшись
импульсу

случайному, уж не Валерой ли за сотни километров
к

проказам побуждаемый? покупал чудеса, не
предназначенные

вовсе для пересылки почтой). " Влюбленные.
Песчаник.

Индия. VIII-X вв." из коллекции Государственного
Эрмитажа

или " Питер Клас. Завтрак с ветчиной. 1647 г." из
того же

собрания.

Ну, а слова: " Вчера решил, что ты вдруг взяла и
приехала. Шел из универа, смотрю, девчонка
впереди, сапоги,

шубка твоя заячья и, представь себе, берет. Вот так
да, думаю,

Лера здесь и в берете, точно, чудеса. Не удержался,
догнал,

дурачина. Экое разочарование." украшали обратную
сторону

парадного портрета поясного героя-космонавта
номер три,

Андриана Николаева.

Короче, напрашивалась точка, знак пунктуации
ехидно норовил испортить фразу, пытался перебить
красавицу

на полуслове, но нет, не вышло, перо сломалось,
слава Богу,

сомкнулись капилляры, чернила высохли.

Привет.

Итак, в сочельник католический, прилежно четверть
завершив, сумев искусно отвертеться, обычных
кривотолков,
впрочем, дурную кашу заварив, от дюжины
разнообразных
предложений вино и хлеб за трапезой полночной
разделить,
тридцатого декабря Валера Додд в "Икарусе",
автобусе
венгерском красном пять долгих, тело изнуряющих
часов в
дороге провела, дабы с любимым православный
праздник
чистый встретить и в богомерзкую коляду со
страстью юною и
пылом обратить.
Полторы недели, все десять дней каникул Валера
провела в городе, основанном по просьбе племени
таежного и
дикого в недолгое, но приснопамятное
царствование Бориса
Годунова, однако, подышать озоном
вдохновляющим,
морозным воздухом Университетской рощи минуты
не нашла,
часок не выкроила для прогулки по лагерному саду.
Напрасно
затейник-массовик какой-то полотнищами алыми
"Лыжня
здоровья зовет", "На старты, томичи" проспекты
украшал,
растягивал на проволоке между фасадами резными,
все время,
отведенное судьбой, часов отлучек кратких,
сессионных Леши
в расчет не принимая, герои наши дома просидели.

Сей оборот устойчивый речи, конечно же, в контексте

истории любовной предполагает многообразие известное

взаимных поз и положений, не ограниченное вовсе спартанским ригоризмом комбинации обычной наробразовской — плечи развернуты, живот подтянут, ноги расслаблены.

Да, дни незаметно переходили в ночи, незавершившиеся вовсе с лучами первыми, ленивыми и

сонными январского светила, однако, как ни странно,

отсутствие чувства меры, вопреки тому, о чем с трагичным

предыханием предупреждали Леру авторы столь назидательных рацей из книги "Для вас, девочки", не

обернулось болью и запоздалым разочарованием, наоборот,

зима та школьная весной, пожалуй, раньше времени сменилась, подкрасила до срока лазурью славной Южносибирский дымный небосвод, возможно, от того как

раз, что девочка Валера решила уже в уединении своем

лукавом мечту отличника с глазами майской синевы: — Ты должна просто приехать летом и поступить в универ, — не просто разделить, нет, сделать явью.

Итак, в июле он вновь ее встречал у образцового свинарника, сплошным стеклом немытых стекол влюбленным

подмигнуть определенно наровившего, но не способного, увы, автовокзала.

— Ну, что?

— Как видишь.

Ну, все, сомневаться после такого взгляда кроткого, конечно, не приходится, Валере предоставлена была сейчас же

возможность наконец-то оценить дремучий бурелом бескрайних зарослей, скрывавших от совершавших променад

по главному проспекту города, центральный портик четырехколонный некогда единственного императорского

высшего учебного заведения на землях русским Богом

забытых за Уралом.

О, да.

Но, нет, Алеша устоял, соблазну не поддавался, намек подруги, пораженной июльским буйством хлорофилла, с

улыбкой славной пропустил мимо ушей, не захотел тотчас же

заблудиться, потеряться (ненадолго) в волшебных дебрях

академической чащобы. Нет, нет, рукою твердой и заботливой

наш кавалер, иронии судьбы не ведая, увы, на биофак отвел

Валеру и заявление на имя ректора с завидной легкостью

продиктовал.

Тут бы продолжить, чудному благодушью

Провидения радуясь, на первом устном ей, конечно же, вопрос

ехиднейший достался — "Тип круглые черви. Общая характеристика. Внешнее строение. Мускулатура, питание,

дыхание, регенерация и размножение", забавно было бы,

однако, на узкой экономной полосочке бумажной копиркой

полужирной размазанные буквы внезапно в скучнейшую

сложились пару неполных предложений: "Ч.Дарвин о

происхождении человека от животных. Ф.Энгельс о роли

труда в превращении древних обезьян в человека".

Ответила.

Вообще, заметим, марку скромную, неброскую своей седьмой обычной, соседством лишь с трамвайной линией, да

неухоженным и пыльным Кузнецким трактом известной

только школы, сумела поддержать. То есть, ни одного

экзамена не завалила, не срезалась, три раза выходила из

тленом сладким пахнущих аудиторий, почти что сотню лет

уже служивших и столом, и домом бесчисленным семействам

носатых и хвостатых, с оценкой в пору ту название носившей

приятное для слуха, а именно, международная. Впрочем, нет,

третьего трояка пришлось ждать почти сутки, последним было

сочинение.

Неплохо, безусловно, для спортсменки, особы

аморальной, из средней школы изгнанной однажды с позором,

как мы помним. Укор припадочным ревнителям,
радетелям
нравственности, определенно так, но вовсе не
указа, увы,
комиссии, лишь баллы скрупулезно призванной
считать, в уме
держа десятка следующего цифру и больше ничего.
Да,
необыкновенно Валериной фамилии не нашлось
места в
списке зачисленных в том году на биолого-
почвенный
факультет Томского государственного университета
имени
большевика, традиции обычной вопреки ни
псевдонимом
вкрадчивым литературным, ни кличкой звонкою
подпольной
не пожелавшего разнообразить унылый лексикон
отрядов
лекторов грядущих.
Но слез не было, объятия имели место, поцелуи и
разнообразные весьма телодвижения,
самодостаточные, вроде
бы, и тем не менее перемежавшиеся разговорами о
подыскании места лаборантки и поступлении на
подготовительные курсы, как это ни смешно,
девятимесячные.
В момент неверный, эмоциональный, слова, что
шепотом горячим сорвались с губ, с делом, тем не
менее (еще
один упрек морали стражам негибачем) не
разошлись, на
курсы Лера поступила, первого сентября отнесла
заявление, а

восьмого октября, казну пополнив университетскую
заранее

внесенной платой за подготовки полный цикл, была
зачислена.

Путь в лаборантки длиннее оказался, привыкший с
легкостью необычайной к полудню пробуждаться
организм

из-под простынки белой в семь ноль-ноль в мир,
всем ветрам

открытый, вытолкнуть внезапно сил не было,
конечно, очень

долго, ну, а когда они нашлись, и волю девичью в
кулак все ж

удалось собрать, увы, все кафедры и даже деканат,
как ни

печально, биофака, укомплектованы вдруг
оказались

техническим разнообразным персоналом, и глазки
напрасно

сисясь отвести от Леры, лапушки такой, чины от
мала до

велика, желаньям явно вопреки, руками разводили с
сожаленьем.

И тем не менее, за время все же небольшое для
наполнения печальной влагой озорных, шкодливых
даже глаз

определенно недостаточное, в стенах креста ее
некогда (с

осени восемьсот восемьдесят пятого) осенявшего
лишенной

альма матер нашлось и Лере место за клавишами
черными

красавицы чугунной с названием о пищеблоке
монастырском

мысли навевающим "Ятрань". В здоровый коллектив
Валеру

приняли доценты и профессора и не какой-нибудь там

лженаучной волновой, нет, квантовой, диалектической теории поля.

Короче, как будто бы зажали.

Да, вроде бы наладилось все к концу октября, сложилось, закрутилось и даль открылась светлая и перспектива чудная, не то брег морской лазурный, не то

волшебная долина, и кто, кто мог (Создателя всеведающего в

расчет, конечно же, не принимая) подумать, в прекрасный

этот миг, вообразить, что нарисуетя вот-вот на горизонте

дивном, ясном, не пароход с трубой, не домик с черепичной

крышей, а энергичная и злобная фигура, суровой, непреклонной, дочери героя внутреннего фронта, полковника

Александра Васильевича Воронихина.

Ать-два.

Хм, кстати, очень может быть, что именно под сенью

оказавшись, в тени сего плечистого мужчины, история наша о

чувствах чистых, детских, мистических, загадочным каким-то

образом и обрела характер коридорный. Движения ритмический рисунок в пространстве замкнутом между

сойтись во что бы то ни стало стремящимися стенами и

парочкой дверей нрава непредсказуемого. Ну, первую забыть,

конечно, невозможно, времен заветных, из цельной
древесины, эмалью белой крашенную школьную.
Вторая, час
которой только, только пробил, похуже качеством,
из
материала стоящего только рама, все остальное
древесностружечная ерунда поры махрового
волонтаризма,
покрыта в два слоя охрой половой.
Итак, прошу вас, вот она, ведущая в квартиру с
окнами на Усова и Косырева.
А, впрочем, нет, начать придется с предмета совсем
уже истеричного, припадочного, право, а именно, с
приятного
салатного оттенка аппарата, произведенного над
речкой
Даугавой в цехах завода под названием ВЭФ. Это он
в один
осенний вечер капризной трелью возвестил
Надежде
Александровне Бойцовой, в девичестве, конечно,
Воронихиной, что баритон мальчишеский Алеши
Ермакова
сегодня приятным образом соединится с
видеорядом
неизменным программы "Время".
Он бодро начал обычно вялый телефонный монолог
племянника любимого недельный о том, как он
живет и
учится, как наблюдает неусыпно за однокомнатной
квартирой
своей двоюродной сестры Марины, в Германии, в
немецком
городе старинном Лейпциге за капитаном службы
связи дни

коротающей, все гладко шло, поскольку наш герой в своей,
лишенной стекол будки таксофонной мог видеть только
пацанов, пузырь гонявших на газоне жухлом
большого
стадиона детского "Мотор", а тетю Надю, от нетерпения,
избытка лукавства и возбуждения, лопатки даже отлепившую
от клейкой спинки под кожанное финнами сработанного
кресла, не мог никак.

— Ну, вот, — закончил, слава Богу.

— Ну, а теперь ты поделись со мной, голубчик, сказала тетка, нет, пропела сладко, — что это там за дева у тебя

на днях белье развешивала на балконе?

Нет, он не побледнел, не умер. Он смутился. То есть не мог решить мгновенно, сразу, какую степень откровенности пришла пора себе позволить.

Смешно? Увы, намеками, улыбочками старая плутовка такой сумбур приятный в голове парнишки,

привыкшего к солдатской грубости и беспардонности,

произвести сумела, что он ее заочно, если не в тайные

сообщники успел зачислить, то уж в разряд особ, готовых

добродушным попустительством себе и окружающим печаль

земного бытия немного скрасить определенно.

— Алеша, ты чего примолк? — веселым голосом мерзавка приободрила жертву.

— Нет, нет, — заторопился он, — это знакомая одна,

землячка из общаги приходила, — сказал,
инстинкту, привычке

с великой осторожностью делиться сокровенным, не
пожелав

благоразумно идти наперекор, — там постирать, вы
сами

знаете, наверное, проблема целая.

— Ну, ну, — довольно лаконично поощрила тетка
отменную находчивость племянника, и, щурясь,
жмурясь,

промурлыкала вдобавок:

— Твое, надеюсь, тоже простирнула?

— Конечно.

Какая радость, не плевков в лицо, не обморок,
смешок

веселый, да и только. И тем не менее, не поделился,
вновь при

себе оставил, проглотил. Взбежал по лестнице,
поцеловал,

увлек на ковриком облагороженную старую тахту:

— Сумасшедший... ты чем... ты чем... на улице...
там...

занимался?

А ничем, монетки колесиком зубчатым легонько по
железке будки стучал и улыбался, как последний
идиот.

Но, впрочем, дурак дураком, и все же, даже в
невероятное уверовав, черт знает что вообразив, он
не утратил

ощущения физической несовместимости своей
семьи,

холодных ребер нерушимой решетки
кристаллической и этой

девочки, Валеры, частички яркой и счастливой, как
шарик

детский в самом центре пособия наглядного —
строение

молекулы. Какой лапши он тетке навертел, фуфла
какого ей

подкинул, не сплеховал, ну, а за веру, за тот
холодный и сухой

осенний вечер, когда внезапно показалось —
пронесет, все

обойдется, два чуждых мира могут сосуществовать,
не

контактируя друг с другом, да кто ж его посмеет
осудить?

Никто.

Ругнуть имеет право, может быть, лишь Кобзев,
капитан-гвардеец, хозяин той, ничем не
примечательной,

нелепой охрой крашеной двери, в замок которой
всего лишь

десять дней спустя, вставляя по обыкновению ключ,
наш

Алексей едва не угодил предметом колющим,
железкой, куда?

да прямо тетке в глаз, в зрачок, холодный и
змеиный, на миг

лишь самообладанье потерявшей Надежды
Александровны.

Определенно, Кобзев, злыдень, (второй, не пара, на
время лишь, в стране далекой, плодами, шмотками
обильной

нервы успокоить) муж Лешинной сестры двоюродной
Марины,

на нечто схожее и рассчитывал, такую ситуацию как
раз в

воображении, должно быть, и рисовал, когда лечил
похмелье

предотъездного мальчишника, на нестандартной
высоте, на
уровне багровой переносицы своей, врезая в дверь
блестящее
изделие п/я 1642.

Но, нет, увы, подвел его товарищ:

— Ах, Леша, это ты, как напугал меня, —
пролепетала

тетка, успев каким-то чудом только увернуться, от
столкновенья неприятнейшего уберечь в миг
округлившееся
буркало.

Какая встреча, вот так да, какой представился
прекрасный случай с прекрасной
непосредственностью
выпалить:

— А ты что тут делаешь, крыса старая, пока хозяев
нету
дома?

Меж тем, не вовремя явившийся студент молчал.

Лишь желвачок перекатился раз, другой под кожей
розовой и

детской. Но улизнуть тихонько не успевшей тетке
досадная

наредкость смена освещения мешала видеть мелкие
детали.

— А... а я вот за Маринкиным дипломом
заскочила, — с

испугом справилась, однако, очень быстро Надежда
Александровна и показала сумочку, как видно,
содержавшую

разводами червончиков, узорами полсотенных
билетов в

солидную бумагу превращенный документ, —
Решила вот

девчонка немного подработать в гарнизонной школе.

— Угу, — он опустил глаза, посторонился и выпустил ее

на волю.

— Ну, побежала, обед кончается, — уже совсем уверенным, веселым голосом врать продолжала тетка.

Взъерошила племянничку затылок влажной дланью, пролет

ступенек серых отсчитала, и в абсолютной безопасности уже

сочла уместным на прощанье пожурить:

— Да, мать вчера звонила, Алексей, ты что же ей совсем не пишешь? А?

Не пишешь, не звонишь. Забыл? А мама, мамочка, она

помнит о тебе, с сестренкой связь регулярную поддерживает и

не на шутку встревожилась, узнав, какие трудности в общагах

нынешних со стиркой.

Впрочем, после непрошенного визита тетки и Леша это понял:

— Валера, мы на днях переезжаем.

— А что такое, мне здесь нравится.

— И мне, но, в общем, у тети Нади и Марины внезапно

изменились планы.

— Да, и куда?

— Еще не знаю.

Наивный, он полагал, недели две еще в запасе есть, дней десять, может быть, пока закончится рекогносцировка,

резервы развернутся, подтянутся тылы.

Четыре дня ему Создатель отпустил, даже три,

воскресным ранним утром Алешу заставили открыть глаза в
молочной синеве рассвета щелчки, два
металлических
предмета соприкасались деликатно, шептались,
звякали с
приязнью очевидной, и тем не менее, поладить не
могли.

Обрубок жирной стрелки будильника "Наири"
угрюмо

упирался в фигурную семерку. Источник звука был в
прихожей.

Ах, Кобзев, капитан, знакомый с телеграфным кодом
Морзе, мужчина, выбравший для никудышной,
дешовой охрой

крашенной двери изделие повышенной секретности
п/я 1642.

Эксцентрик, механизм, с характером собаки
преданной, до

самого упора повернутый рукою Алеши изнутри,
любезно

щелкал, но не поддавался родному папе, ключу
снаружи

вставленному тихо.

— Ну, что там, Надя? — вопрос негромкий прозвучал
с

той стороны, и у босого юноши, стоявшего по эту, за
вдохом

выдох не последовал.

— Ты знаешь, кажется опять перепутала ключи.
Брала

дубликат от Сашкиного кабинета позавчера, ну, и в
который

раз, похоже, его себе оставила, а Саше, конечно,
сунула от

этой чертовой квартиры.

— Что теперь? — нет, нет, шипенье это гнусное ни с чем

не спутаешь, за хлипкой древесностружечной панелью в

каком-то полуметре от него стоит и взглядом испепеляет тетку

животное с глазами бледно-голубыми.

— Не кипятись, Галина, сейчас позвоним Саше снизу,

тут автомат буквально за углом, он через двадцать минут

привезет свой.

Ну, и за этим вслед смешок, тот самый, что Леша

Ермаков, пацан, мальчишка, так искренно, так долго

за

признак доброты душевной принимал:

— Ты не волнуйся, Галя, уж я-то знаю, раньше двенадцати в их возрасте никто не просыпается.

— Кто это? — раздался шопот за спиной, горячий воздух

ушную раковину белую, мгновенной гормональной катастрофой обескровленную, согрел внезапно.

Точас же рука любимого (правая) уста любимой

запечатала, а левая без промедления для ласки нежной

созданный животик перехватила поперек, и в комнату

беззвучно повлекла.

— Лера, — произнесли сухие губы, так чудно целовать

умевшие, — через две минуты нас не должно быть здесь.

— Да кто же это там?

— Мать.

Три ночи подряд они спали у Леры на кафедре в

жарком и неудобном, стеганом спальном мешке,
который

извлекался под перезвоны связки карабинчиков из
чрева

абалакова, заслуженного ветерана, еще недавно
так

смешившего милашку-лаборантку соседством с
парой ржавых,

видавших виды триконей в шкафу под полками с
программами, отчетами, горой разнообразных
бланков и

кипой чистой, стандартными листами нарезанной
оберточной
бумаги.

На занятия Алеша не ходил, из столовой он
направлялся прямо в библиотеку, там пялился
минут

пятнадцать, двадцать на сортирные изыски работы
художника

Басырова и утомленный акварельной рябью цветов,
зеленого и

желтого, в конце концов безвольно припадал
щекой, ложился

на издательством "Наука" размноженное
произведение

искусства и засыпал.

В среду сон бедняги был особенно сладок, именно в
этот день из путешествия, почти что
трехнедельного, к

отрогам невысоких, но живописных алтайских гор
вернуться

должен был приятель Ермакова, одноклассник
бывший, а

ныне студент училища художественного Сережа
Востряков,

хозяин пятикомнатных апартаментов, особняка в купеческом

исконном стиле, хоромов деревянных двухэтажных на

каменном метровом столетней давности подклетье.

Профессор Вострякова, орнитолог, мать рериха таежного, от

сибирских грачей и воробьев уехала на юг малороссийский,

остаток жизни посвятить крикливым чайкам, забрав с собою

сына старшего, биолога, дочь младшую, школьницу, а

среднему оставив семейную обитель, за резными ставнями

которой, под крышей с петушками и надеялся от жизненных

невзгод укрыться ноябрьским морозным вечером и наш

Алеша.

Итак, он спал и видел, как скорый поезд везет Серегу

верного товарища, спешит, гремит железом, посредством тока

электрического просторы ужимая и сокращая расстояния. И

вот в этот момент чудесный, его, спящего и беззащитного,

чья-то цепкая рука вдруг ухватила за мочку уха, а, ухватив за

мякоть, принялась вращать, определенно намереваясь сей

нежный и необходимый хрящ от непутевой головы для жизни

новой и самостоятельной скорее отделить.

Да, встреча мамы с сыном состоялась в культурной,

интеллектуальной атмосфере читальни
университетской у

полки с красными гроссбухами Большой советской
многотомной энциклопедии.

— Это та же самая? — спросили губы-ниточки после
того, как насмотрелись глазенки блеклые,
бесцветные, на
полное бессилье негодяя.

— Та, — коротким звуком горловым он подтвердил,
что

с ним сегодня можно делать все, он будет нем, не
пошевелится, не пикнет здесь, где несколько
десятков глаз

мгновенно могут вскинуться от вороха
бессмысленных бумаг
на дальний столик угловой.

— Ну, так вот, — продолжали бескровные, при этом
не

мешая сухим и белым пальцам наслаждаться
податливостью

родной горячей плоти. — Если самое позднее завтра
вечером

ты не приползешь на коленях домой, весь Томск,
весь

университет будет знать и говорить об этой гнусной
потаскухе.

— Понятно?

— Нятно.

— А теперь можешь продолжить занятия, — сказала
тварь, приболжно напоследок красивый нос
отличника вминая

в шершавую обложку журнала "Химия и Жизнь".

На сей раз он готовился стоять насмерть, быть
мужчиной, пасть, но не сдаться. Убить в душе отца
филателиста, ценою бесконечных унижений
купившего, нет,

вымолить сумевшего смешное право субботним
вечером,

вооружившись лупой и пинцетом, в который раз
счастливо

убеждаться в сохранности полнейшей, неизменной,
чудесных

зубчиков, всех до одного.

Он хотел, да, но Воронихина Галина вновь, как
всегда, расчетливей и хитрей, проворней оказалась
десятка

Ермаковых. Каким уверенным движением она с
доски такую

грозную на вид фигуру, вновь бунтовать
надумавшего сына,

небрежно сбросила, смахнула, и девочку Валеру
холодной

пятерней с улыбкой омерзительной погладила по
голове.

— Знаешь, — в тот вечер Леша сказал своей
единственной, когда в мансарде зимней Вострякова
они

сидели среди холстов и гипсовых слепцов, румяные
от

скудости еды и тяжести напитка
неразбавленного, — тебе,

наверное, придется уехать на какое-то время. На
месяц, может

быть, до января.

— Ты ее боишься?

— Я... я ее ненавижу, — ресницы вздрогнули
чудесные и

нежные, мерцающие в свете неверном уже
оплывших белых

свеч, — Я ее убью, убью гадину.

Вот так, молчал, молчал, скрывал, таился и вдруг

заговорил, а Лера, невероятно, чудовищно, но в этот момент

ужасный вдруг засмеялась, нелепо, глупо, тихо.

— Что с тобой? — спросил Алеша грубо.

— Это так, это так, мой хороший, я просто дура, дура и

все тут. Ударь меня, если хочешь.

Конечно, чутье не обмануло Валеру Додд. Дар несравненный женской интуиции был заодно с дурацкой

непосредственностью чувств оправдан временем унылым, в

отличии, увы, от самомнения мужского, решимости, что

сочетается обыкновенно с необычайным напряжением

покровов кожных лицевых, brutальным, барабанным,

кинематографа, юпитеров и просветленной оптики достойным.

Да, все вышло совсем не так, как представлял себе студент-биолог, от водки и обид насупившийся грозно.

Тварь, гадина, мамаша Алексея Ермакова, с раскроенной коробкой черепной на стол холодный паталогоанатома, конечно, не легла. Напротив, сама, похоже,

вознамерилась отправить сына, если и не навсегда, то на

годок, другой уж точно, в специальное учреждение лечебное.

Едва ли не каждую пятницу в восемь вечера он должен был встречать ее в примерно убранной квартире, а

утром в понедельник провожать на первый Южносибирский

автобус, сопровождать безропотно сквозь
непрозрачную,
морозом в неправильной пропорции замешанную
смесь
сублимата и конденсата водного.

— И не вздумай снова дергаться, — говорила ему
мама

ласково в дверях студеного шестичасового
"Икаруса", — одно

неверное движение, и ты в армии.

Именовалось сие мероприятие научными

изысканиями в архивах Томской парторганизации.

Впрочем, об этом Леша Лере почти ничего не писал.

А слал он милой письма, особенно первые несколько
месяцев,

очень и очень часто. В конверт теперь он, правда,
крайне

редко вкладывал открытку, все эти полгода из
Томска Валера

получала самые настоящие письма с зачином "
Здравствуй,

Лерочка" и подписью "Волчонок Леша". Он стал на
удивленье

многословен и оптимизмом поражал, настолько не
сочетавшимся с тогдашним обликом и состоянием
студента,

что лишь бумага в клетку и могла его терпеть,
сносить

великодушно. Да, планы воссоединения в унылом
далеке

своим самые невероятные строил Алеша Ермаков, из
коих

постепенно, отодвигая все другие в сторону, все
затмевая

простотой и совершенством, волшебным и
единственным стал

вырисовываться главный — перевод. Перевод из
томской,
таежной, семейством Ворониных схваченной
глуши в
украинскую вольную приазовскую степь, бегство от
собственной мамы — доцента, кандидата
исторических наук
под крылышко Елены Сергеевны Востряковой,
профессора,
доктора биологических.
"Все сбудется, все сбудется", — писал Алеша Лере,
ну
а пока, пока он не мог ничего. Не в силах был даже
вернуть
кое-какие вещички, что, убегая от фурии безумной,
оставила
Валера в квартире окнами на Усова и Косырева. Увы,
весь ее
нехитрый (но, тем не менее, заметим, между
прочим,
эффектный) гардероб Галина Александровна с
животным
упоеанием, восторгом, порезала острейшим, для
нужд
кухонных лериных сыночком отлично заточенным
ножом.
Ну, а что Валера? Плутровка, бестия, такая-сякая
этакая?
Валера разрывалась пополам. Та часть ее естества,
кую принято обыкновенно считать здоровым
началом, кровь с
молоком — игристый напиток, определенно
стремилась и звала
забыть ресниц длиннющих, глаз синих свет
необычайный, и

жить, ловить момент. Чем, собственно, со стороны
казалось
многим, и занималась долгоногая шалунья с
бессовестными
губками. Однако, в безупречном почти что теле, как
с
изумленьем убедилась порой недавней, летней,
сестра
молочная Анастасия, вдруг странный обнаружился,
для глаз
невидимый изъян, дефект, мешавший желез
разнообразных
буйство в беспечный праздник ежечасный для
четырех
конечностей и копчика счастливо обратить. Нечто,
заставлявшее Валеру каждый день с волнением
удивительным,
никак не вяжущимся, право, с ее походкой, глазами
наглыми и
вызывающей усмешкой, входить в подъезд и
издали, сейчас
же взгляд пристальный бросать на три отверстия в
почтовом
ящике, три дырочки, зверюги три, три лапушки,
сестрички
невилички.
Такая беззаботная на вид, веселая не в меру,
смешливая ни к месту Валера Додд, да, оказалась
подвержена
типичной меланхолии, печали, грусти, короче,
склонность
обнаружила девичьим грезам, романтическим
мечтам
значение придавать, ну, право же, несообразное,
противоречащее, в общем, тому, что именуют с
оттенком

удовлетворения в быту и на работе, здоровым смыслом.

Увы, увы.

Но, впрочем, об этом знать, догадываться даже, не должен был никто. Товарка, одноклассница, подруга, Малюта

Ирка, в том числе. Ни под каким предлогом, ни в коем случае.

Да, кстати, девицы, после периода довольно продолжительного обид взаимных и претензий, почти что

годового отчуждения, вновь были вместе, в чем убедиться мог

любой, когда бы время и желание имел по лестнице, каким-то

вдохновенным конструктивистом-вуаяристом задуманной и

возведенной, взбежать на третий, любимый молодежью

золотой, развратной и веселой, этаж, кафе с названьем

незабвенным "Льдинка".

Именно там и накрыли вчера, заставив текстолит площадки танцевальной чирикать и пиццать под водостойким

полимером подошвы импортной, красавиц наших три

исключительных подонка — скотина Сима Шве-Царев и

братья Ивановы, Павлуха и Юрец.

— А-га-га!

— Ы-гы-гы!

Попались, курочки! Держитесь, телочки!

— Всем по полтинничку для разгона!

И что же вы думаете? После разгона, взлета и набора

высоты, посадка, черт возьми, опять не состоялась.
В который
уже раз, сотый, двухсотый, тысяча первый, Валерия
Николаевна Додд мерзавцев обломила. Всех ли
троих
прокинула разом, одного ли Павла лупоглазого или,
быть
может, братишку его гнилозубого только, сейчас не
столь уж
важно. Принципиально то, что больше всех
разволновался,
Валеру вдруг не обнаружив в квартире для дебошей
пьяных
специально словно созданной, хавире, с видом на
излучину
Томи, Малюты Ирки, ни кто иной, как Сима Швец-
Царев, не
то жених, не то любовник хозяйки, накушавшейся,
кстати, в
печальный вечер сей в лохмотья, в дым, вдрезину,
вдребадан.
— Как? — икал он изумленно, чертоги Иркины
шарами
мокрыми обзревая:
— Она же с вами поднималась?
— За нами, — братишки соглашались, любуясь
Симиной
зазнобой, что сидя прямо на полу,
непривлекательном
наредкость, сопя, ругаясь жутко, в чулках и в
волосах забавно
путаясь, стянуть пыталась непокорные, на ножках
ее бедных
остаться навсегда решившие, похоже, в тепле ее
коровьем,

французской замши туфельки с застежками из
вороненого
металла.

— Ну, е мое, — был безутешен Сима, чему порукой,
безусловно, ямб одностопный — классической
трагедии размер.

— Ну, елы-палы.

Смылась. Пока он возился с дверцей чумных
"Жигулей", открывал, закрывал, замочком клацал,
эта хитрая

кряля, бестия, непостижимым образом исчезла.

И в самом деле улинула. Из положенья
безнадежного

как будто бы нашла единственный возможный
выход. В

момент, когда в неприбранной передней хозяйку на
пол

братаны сгружали, Валера с хладнокровием
неподражаемым,

оп, проскочила роковой этаж, на третьем, белками в
темноте

сияя, дождалась Симки-Командира, еще раз
миновала

прикрытую на сей раз дверь, сбежала вниз, на
улицу,

неосвященный двор преодолела махом, сквозь
прутья давно

заботливым каким-то добряком прореженной
ограды изящно

просочилась и раз, два, три, четыре, через десять,
пятнадцать

максимум минут уже, босыми пятками родимой
ванной

ощущая кафель, пыталась щеткою зубной не в нос
попасть, а в

рот.

— Ща я ее привезу, ща я ее доставлю, — горячился
тем
временем Сима, но нет, конечно же, пижон бежать
по следу
теплому не пожелал, влез в свой дырван
недоделанный, стал
разворачиваться, примял крыло о маленький
чугунный
столбик исчезнувшего ограждения, рванул по
Арочной, едва
не въехал в свежееотрытую траншею, еще раз
развернулся
(вписался аккуратно, аппарат не повредив), но на
Островского
свой перекресток нелепо проскочил, на Кирова
вспугнул
худую кошку неизвестной масти, минут, должно
быть, пять не
мог сообразить, как въехать в Лерин двор, короче,
марш
бросок победно завершил не в том подъезде.
Тревожил полчаса звонок бездушный чей-то, и
вдруг,
решив, свинья бухая, что обогнал голубку нашу, на
вираже
обставил, уселся на ступеньку и, мирно поджидая
девочку,
головку приложил к дверному косяку и задремал
невинно.
Очнулся в полседьмого, опять ломиться пробовал в
необитаемое, видно, помещение. Полаялся с какой-
то дамой,
соседкой, через цепочку нахала урезонить
вздумавшей.
Послал ее, поклялся-облокотился, завел железку
боевую и на

речной отправился вокзал, где пиво малохольным
отпускали с

восходом солнца. Взбодрился, подкрепился и в
часть махнул,

к месту прохождения действительной службы (да,
Дмитрий

Швец-Царев в тот исторический момент к Н-скому
приписан

был полку, в почетном звании рядового состоял)
сгонял

оттуда к жене комбата в Кедровскую больницу с
передачей и,

наконец, так много дел и нужных, и полезных
совершив, к

родительскому дому кочуя, внезапно на
проспекте на

Советском, самом главном, увидел, углядел,
заметил от каши

манной порозовевшую, похорошевшую девицу,
Валеру Додд.

— Аааа!

Вот при каких обстоятельствах, бурля, кипя от
чувств

нахлынувших избытка, резиной жигулевской едва
не переехал

редактора-стажера программ для юношества и
студенчества,

ответственного сын, племянник компетентного и
внук

заслуженного, гаденыш Сима Швец-Царев.

— Ну что, попалась?

— Попалась, попалась, — охотно согласилась Лера,
без

лишних слов усаживаясь прямо на переднее
сиденье.

— Куда изволите? — скосил свой гнусный глаз

неисправимый и улыбнулся безобразно.

— Куда? Куда? На студию. У меня эфир через полчаса.

— А, ну, ну. Ты же у нас кинозвезда. Гундарева Пундарева.

— Мадам, — зарыготал, запузырился веселый Сима, рукоятку на себя потянул, педаль в противоположном

направлении двинул, пугнул гудком прохожего, беднягу, на

зебре зазевавшегося, и дунул вдоль по улице широкой. Пять

минут, и вот уже паркуется у проходной красивой телецентра.

— Во сколько освободишься?

— В четыре, — в глаза зеленые спокойно глядя, лжет

Лера без малейшего смущения.

— Ну, смотри, без пятнадцати я жду тебя на этом самом

месте. Обманешь, пеняй на себя.

Да, строг был Сима, крут и краток, но спросить с проказницы и в этот раз ему не удалось. Увы, сегодня рано

утром, еще не пробовала даже Валера веки разлепить, и Сима

жидкостью студеной разбавить излишествами разными

вчерашними испорченную кровь, а на столе дежурного

центрального РОВД уже лежало птицей дохлой заявление, в

котором потерпевшая Ирина Афанасьевна Малюта, от

сложностей оперативно-розыскных мероприятий бригаду

следователей избавляя, не только имя, Шве́ц-Царев,
фамилию

наси́льника, ублю́дка указала, но также год
рождения

шестидеся́тый и адрес — проспект Советский, 8-42.

ТОЛИК

Экий прямо-таки демон, исча́дье ада, смотришь,
вроде

бы спит, дремлет, дурной румянец оттеняет
полудетскую

щетину, невинный пузырек слюны все силится, но
капелькой

горячей скатиться по подбородку в ямочку
землистую никак

не может, дитя природы, молочный агнец, так нет
же,

выродок, последний негодяй, непостижимым
образом в

минуту эту же, вот в этот самый миг, в другом,
совсем другом,

представьте себе, месте, на свежем воздухе в
чудесном

скверике под сенью алюминиевой огромной чаши
приемной

станции программ ЦТ "Орбита" с цинизмом просто
фантастическим чудовищные совершает действия, о
коих

трактует с презрением явным и очевидным
отвращением

позорная, неуважаемая 117 статья УК РСФСР.

Фу.

Подлец, мерзавец, скот, и еще осмеливается,
подумать

только, гудком пронзительным пугать
законопослушных,

смирных граждан, спешащих под мигание зеленого
глазка по

освеженным совсем недавно к майским торжествам
полоскам

белым пешеходной зебры.

Впрочем, всего лишь одного, одного лишь только
гражданина по пяткам стеганул сигналом звуковым
внезапным, в зад подтолкнул свирепо затейник
полупьяный

Сима, от Леры заработав, кстати, неласковое:

— Идиот, — а именно, соседа Доддов, Толю
Кузнецова,

такого молодого человека с волосами президента, в
ту пору

знаменитого, оваянного славой даже дискоклуба
Южносибирского горного института, ЮГИ, "33 и
1/3".

Электрический разряд природы гнусной мурашками
скатился от шейного позвонка к поясничному,
аукнулся в

поджилках, и Толя стрекоча задал, да, что есть духу
припустил, забыв, отбросив прежнее жеманство
ленивой,

семенящей, полупрезрительной рысцы.

Вот так судьба бывает несправедлива, в каком
порою

неприглядном виде готова выставить не охламона с
рожей

мятой и не девицу моральных принципов
сомнительных, а

юношу серьезного, к тому же исполняющего
священный свой

гражданский долг.

Да-да, ведь не к какой-нибудь блондинке в
колготках

красных непристойных спешит в объятия Анатолий.
Суровая

Родина-мать ждет его на аллейке безлюдной в час
утренний, в

день будний городского сада. В лице гуляющего как
бы среди

скамеек синих и зеленых свежеокрашенных
мужчины в кепке

и плаще. В образе старшего лейтенанта Виктора
Михайловича

Макунько из управления по городу Южносибирску и
области

одноименной.

Именно к нему спешит, торопится от дома прочь, от
института, наш диск-жокей, организатор молодежи,
вот чудом

только не наткнулся на циферблат своих часов, к
лицу рукой

внезапно вознесенных и ускоряется опять, без
всякой видимой

угрозы внешней, сам все быстрее и быстрее
переставляет

ноги.

Опаздывает. Опаздывает явно, не успевает. Нет,
скрыть сие, конечно, невозможно. Но можно,
необходимо

даже просто-напросто другое, причину столь
поразительной,

несвойственной Толяну совершенно
необязательности. Иначе

говоря, еще одно унижайшее происшествие
прикрыть,

задвинуть пяткой под стул, то самое, что не
позволило Толе

походкой гордой и размеренной идти по улице
советской

(имени Кирова) с высоко поднятой головой и чистыми (ах, горе-горюшко) руками. Да, сегодня утром Анатолий Кузнецов (планида ты несладкая добровольного помощника, информатора, осведомителя, стукача), человек, выше личного поставивший общественное, выше дружбы (на цыпочки встав) долг, а выше любви (подпрыгнув, полагаю) честь, составивший такую вот, на зависть многим правильную пирамиду, был дважды за каких-то несколько часов оскорблен, намеренно причем, несознательными элементами из числа своих ровесников. Увы, увы, еще до того, как галопом не слишком элегантно Толян свое достоинство буквально растоптал, он уронил его, да, птицу белую, цыпленка бройлерного, утратил безвозвратного, вообразите только, он, юноша тонкой кости, изящного склада, все утро сегодняшнее (зубы не вычистив, кудри не расчесав) занимался, о, Богородица-заступница, сбором дурно пахнущих и вид имеющих отталкивающий, вы угадали, человеческих выделений. Кошмар. А дело вот в чем, вчера, признаться надо, не одной Валере Додд напитки крепости различной без всякой меры подавали. И баламут известный, Онегин, Чайлд Гарольд, с

обличьем Ленского и препохабнейшей фамилией
Зухны

(чудак, приятель Толи школьный) пороку
предавался и

вследствие сего имел шанс редкий отличиться,
которым он

воспользовался, не преминул, то есть буквально
ввалился в

тихий час вечерней сказки для детей в квартиру
чинную

семейства Кузнецовых, чудесно пахнувшую
завтрашним

обедом и, получив вопрос корректный:

— Леня, что случилось? — не стал воспоминаниям
унылым предаваться, нет, в будущее скорое,
прекрасное и

светлое, свой мутный кинул взор:

— На старт, внимание, марш, — с торжественностью
некоторой даже возвестил и пояснил с улыбкой
милой:

— Сейчас здесь все будет заблевано.

После чего, однако, не замычал, не зарычал ужасно,
а

грохнулся довольно неуклюже на коврик
домотканный и

реагировать не пожелал вообще на емкости
различные, тазы и

ведра, любезно предлагавшиеся для облегчения
страданий

органов бедняги внутренним хозяином любезным.

Подвел, мечту свою заветную — остатками
непереваренной дешевой " в оболочке" ветчины
украсить

Толины обои чешские с цветочками в портвейне,
напитке

приторном и гадком, косая морда, утопил. Ну,
ничего, зато
чистойшей желчью, своей собственной, густой,
неразведенной, самородной, души поэта
квинтэссенцией,
охотно, просто щедро поделился поутру.

Беееее.

Итак, в часу одиннадцатом, когда движеньем
резким

осадил Толян устройство с механическим заводом,
Зух не

лежал жердиною нескладной в углу на стареньком
матрасе,

исчез (простынка белая — комком, истерзанная
извергом

подушка — боком), пропал, отчалил, удалился без
лишних слов,

как джентльмен, но след каналы, тем не менее,
нет, не

простыл, на самом деле не остыл, пах, то есть,
иначе говоря,

хранил еще тепло большого органа кровотворящего
и пузыря,

имеющего форму грушевидную, расширенный
отдел, часть

среднюю и суженную шейку, соединенную протоком
узким с

кишкой незначительной, но нервной и
слабохарактерной,

двенадцатиперстной.

И в этом убедился Толя тут же, проехав голою
ступней по кафелю сортирному, спасибо, зацепился,
ухватился

за полочку с хозяйственным набором, а то бы
неизвестно, что

еще по неопрятной плитке поплыло, когда бы
головой своей

Кузнец с размаху тюкнулся о финский унитаз. Да,
кстати, в

ванной тоже было сыро, но веселее, ибо там
бескрайние

пространства мелководья чистого отважно
бороздила лишь

крышечка югославского шампуня.

Добавить нечего.

И смысла нет, радиослушателям лет минувших
известно, еще бы, пароходы провожают совсем не
так, как

поезда. В общем, выбежал Толя из наспех
прибранной

квартиры, желтка яичного остатки с
невыдающегося

подбородка роняя на ходу, минут за пять, не
больше, до

встречи, ему назначенной в аллеях сада городского.

От испытания к испытанию ведет судьба сегодня

Кузнецова, от одного к другому движется Кузнец,
как некий

грек, наживший вследствие переедания козлиный
голос, от

сувенира к сувениру.

Итак, навстречу Толе, миновавшему парадное
излишество, дорическую колоннаду и железные
ворота, из-под

младых ветвей, листвою шелестящих, мужчина
выступает

грубый, рыжий, с недружелюбным ежиком под
носом.

— Извините, немного задержался, — торопится
сейчас

же повиниться Кузнецов, выдерживая, впрочем, с

достоинством немалым рукопожатие, клешне
холодной и

безжалостной не позволяя смешать фаланги,
связки,

сухожилия, свою ладонь, пусть оскверненную
общением с

тряпкой половой, но все равно изящную, сухую
длань

пианиста, музыканта, в бесформенную массу
превратить.

— Что-нибудь серьезное? — густеет, как бы
невзначай,

синева в очах суровых рыцаря без страха и упрека.

— Да, нет... нет, так, дома мелкое недоразумение,
румянятся немного щечки молодого человека, ввиду
дурацкого стечения обстоятельств оправдываться
принужденного.

То есть опять что-то невнятное смущенно
бормотать,

не ведая, не зная, где взгляд остановить, к чему
приклеить на

абсолютно непроницаемом челе товарища Макунько
Виктора

Михайловича.

Вот, черт возьми. Казалось бы, к концу их встречи
предыдущей уже возникло какое-то приятное
подобие доверия

и даже собираться, кристаллизироваться начинали,
может

быть, мельчайшие, еще неразличимые частицы,
способные в

условиях определенных приязни флюиды испускать,
так нет

же, вновь с двусмысленности начинать приходится,
краснеть,

увиливать, от ясного, прямого ответа уходить,
короче,
возвращаться к тому моменту не слишком уж
приятному,
когда Толяна какой-то незнакомец в штатском завел
в пустой
и узкий кабинет на этаже втором военкомата и
сунул там, без
всяких предисловий, едва ли не к переносице
бедняги
прилепил (возможно, от привычки с близорукими
субъектами
иметь контакт) оттенка розового разворот бордовых
корочек
красивых.
Ну, вот, писали мы героя и тушью, и гуашью, и
кистью, и пером, и все ради того лишь, чтобы
сознаться вдруг,
да, помогать борцам с невидимым врагом родного
государства
охотно взялся Толя, но вовсе не по зову сердца, нет,
не по
собственному решил он это делать все почину.
Лишен был выбора прятный юноша с хорошими
манерами, в безвыходное просто поставлен
положение
невиданным кощунством, бессмысленным и наглым
святотатством, грозившим комсомольской
организации
Южносибирского горного лишиться навсегда,
навек
почетных званий — передовая, боевая, но, впрочем,
это Толю
мало беспокоило, когда бы черное пятно, упавшее
внезапно на

накрахмаленную грудь, не угрожало растечься,
лишая вида,

шарма, обаяния, буквально все и вся, и в том числе,
конечно,

примерно с год тому назад союзом молодежи
институтским

прижитый от Толи Кузнецова столь популярный
диско клуб с

названием идеологически нейтральным (не
вредным, то есть)

"33 и 1/3".

Увы, никто не мог уверен быть в своей уязвимости,
спокоен, равнодушен, безразличен, после того, как
в одно

прекрасное утро (в канун, о, Феликс, архангел без
весов, но с

маузером, сто десятой годовщины рождения своего)

в

Ленинской комнате Южносибирского горного
прозрел

внезапно вождь мирового пролетариата.

Скандал.

У гипсового изваяния, у бюста метр на метр на
полтора, проклюнулись вдруг глазки голубые,
моргала алкаша

и маловера.

Привет.

И что прискорбнее всего, событие сие, неопишное
чудо, принародно явленное, никто из членов актива
институтского, места в президиуме занимая, не
заметил.

Расселись деканы и секретари, под носом у
основоположника

расположились и в зал уставились угрюмо, а с
залом,

отличниками, стипендиатами именными,
лауреатами
конференций научных, олимпиад предметных,
красой и
гордостью, грядущей сменой неладное как будто
что-то
происходит.

То есть присутствуют, конечно, внимают
рапортующему, лица правильные, глаза ясные, и в
то же время

впечатление создается такое, будто бы шепчутся,
черти,

шумок какой-то гуляет по рядам, сквознячок. Ни
один мускул

на лицах не дрогнет, а между тем какая-то
улыбочка неясная

как будто бы бродит, то тут мелькнет, то там,
флуктуирует

сама по себе, эманация нехорошая от
присутствующих

исходит, а от кого конкретно, и не сказать, от всех
как бы

сволочей разом. Напряжение, словом, и вдруг...
смешок.

Этакое фыркание мерзкое, тут, там, здесь...

Да что такое? Уж и оратор, ректор, профессор
Марлен

Самсонович Сатаров, как ни был увлечен
перспективами и

планами, задумок роем воодушевлен, взволнован, и
тот нить

потерял, встревожился, ноздрями поиграл, туда
зыркнул, сюда

глянул. За спиной, сзади, слева, — чутье
подсказывает,

селезенка сигнализирует, но не к лицу такой
персоне, сами
понимаете, движения резкие и праздный интерес,
вновь рот
открыл Марлен Самсонович, но, нет, увы, не утерпел
председатель совета ректоров вузов
промышленного края,
пять раз (пожалуй, даже шесть) не избранный член-
корром АН
СССР, не выдержал, наперекор гордыне обернулся,
а там,
пролетарии всех стран соединяйтесь, будь готов —
всегда
готов, подмигивая правым глазом, в усы
посмеиваясь
бесцеремонно так, по-свойски, любитесь им, святой
Боже,
самый человечный человек.
Короче, никаких шансов скрыть злодеяние
чудовищное, факт утаить, замять, спустить на
тормозах, в
рабочем порядке, в узком кругу, своими силами,
исключено.
Заседание окончено, выездная сессия открыта.
Вот после чего доселе незримый, то ли из воздуха,
из
теней коридорных голубых сложился, а, может
быть, и прямо
из стены шагнул, мгновенно отделился мужчина
рыжий в
неброском пыльнике широком армейского покроя и
в кепке
пролетарской восьмиклинке. Явился, не улыбочивый,
протопал
по-хозяйски в зарезервированный кабинет без
разъясняющей

таблички, но с пломбой пластилиновой на косяке,
старший

лейтенант Виктор Михайлович Макунько,
оперуполномоченный, кем? так и просится в строку
дополнение, ну, что ж, извольте, с превеликим
удовольствием,

всем советским народом.

Сел в кресло под портретом черно-белым
сердечника

чахоточного с бородкой, без очков, во френче и
комсомолом

занялся Южносибирского горного, с руководящей
головкой

работать стал, но, впрочем, и рядовыми членами
союза

молодежи не брезговал, случалось, вызывал для
очного

знакомства, беседы, разговора тет-а-тет.

На каком основании, спрашивается?

Не следует ли здесь усматривать попытку
начальства

институтского на плечи молодые неокрепшие, на
спины юные,

учебой безоглядной искривленные, сложить?
Конечно,

безусловно, но в то же время захочешь и не
придерешься, ибо

рыльце у институтского авангарда, пятачок, да что
там, вся

ряха оказалась и в пуху, и в соломе, и еще черт
знает в чем,

наредкость, в общем, неприглядной вышла
физиономия.

Увы, именно она, неоперившаяся поросль, боевитая
смена, добродушием старых товарищей безобразно

злоупотребляя, и превратила святое место,
Ленинскую
комнату, подумать только, в проходную. Да, дверь,
что
виднелась справа в простенке за сценой с Ильичом,
светящимся во мраке, декоративной не была, вела
полированная, блестящая, под цвет панелей
(продукции
побочной Южносибирской пианинной фабрики) в
большое и
неряшливое помещение, где и студенческий театр
репетировал
миниатюры, и за фанерной перегородкой дискотека
"33 и 1/3"
хранил свою аппаратуру, и редколлегия стенной
газеты
сатирической "Глухой забой" одутловатые мордасы
прогульщики и бузотеры хари омерзительные
зеленой
краской малевала.
Собственно, сам факт использования для
возвращения
зрения основателю первого в мире государства
рабочих и
крестьян баночки из набора красок редколлегии
сомнению не
подлежал. Но взять за холку, за гузку ухватить
художников
беспечных хоть и пытался товарищ Макунько, но
поводов
особых не имел для этого, поскольку номер
мартовский уж
выцвести успел в углу у входа в библиотеку, а за
апрельский
халтурщики и не брались, о чем вопрос как раз был
поднят на

заседании последнем комитета комсомола ЮГИ, что подтверждал, увы, казенным стилем бездушный протокол.

СТЭМ, театр миниатюр, продув февральский КВН мединституту, был в творческом застое, не собирался, то есть,

уже почти полгода, а дискотек, завоевав на конкурсе

недавнем областном заветный главный приз, в иную крайность впал, но с тем же результатом, то есть бездействовал и после своего триумфа уже сорвал два вечера,

два бала, заранее объявленных, назначенных в фойе

электромеханического корпуса.

Короче, установить не просто оказалось, кто мог оставить за спиной большого бюста, в соседней, изрядно

захлавленной комнате, под стульями в углу у длинного стола

две склянки разновеликие — толстушку темноокую из-под

шампанского и длинношеюю красавицу, шибящую в нос

свежеотлитым содержимым, водочную.

В чем, между прочим, откровенно в беседе с глазу на

глаз и признался Толе Кузнецову трехзвездочный офицер в

костюме сером, товарищ Макунько. Но, впрочем, не сразу, не

в след немедленно за тем, как ошарашил он Толяна красивым

разворотом служебного удостоверения.

Нет, дав время Анатолию полюбоваться на шит и меч,

заговорил с ним Макунько Виктор Михайлович о
сложностях,
которыми коварно угрожает организму весенний
недуг,
болезнь задорно водами журчащая, похлюпать и
почмокать
невинная любительница — инфлюэнца.
А дело в том, что помимо исключительной отмазки,
каковою, находясь в победной прострации, почивая
на лаврах,
сами того не ведая, обеспечили себя все до единого
диско
оболтусы из клуба богомерзкого, президент и
тридцати трех, и
одной трети Анатолий Кузнецов имел еще и лично
для себя
безукоризненное алиби.
Роковые восемь дней, пять до чудовищного
святотатства, и два после провел он дома, в постели
своей
собственной по воле вируса безжалостного платки,
салфетки,
полотенца без передышки увлажняя.
Так вот, о Толином здоровье осведомившись перво
наперво в холодном кабинете райвоенкомата с
оконным
переплетом времен простых решений, похожим на
решетку,
лейтенант Макунько как-то очень быстро и уверенно
стал от
болезней уха, горла, носа, минуя недомогания
печени, желудка
несварение, живот, способный острым стать в
любой момент,
и почки, отказать преподло норвящие, спускаться в
ТОТ

отдел, укромный уголок организма приматов, где
гнезятся

напасти совсем малоприятные, стыдливо в народе
именуемые

женскими.

Иначе говоря, вел опер Толю путем извилистым и
странным, и уж казалось, что вот-вот суровым
голосом

потребуется сознаться, за сколько же аборт
криминальных ему

устроила фальшивую, дутую справку заботливая
мама Ида

Соломоновна Шнапир, врач, доктор, заведующая
отделением,

несмотря на деликатность исключительную, самая
известная в

областном центре специалистка по устранению
последствий

нежелательных неосмотрительности обоюдной, как
вдруг...

улыбка? нет, ее предвещающее изменение
кривизны шаров,

утрата выпуклости угрожающей белками голубыми,
едва

заметная, но слабина губ малокровных, позыв,
определенно,

служебным предписанием вопреки, самодовольство,
достигшего без лишних осложнений цели
профессионала.

— Да вы не волнуйтесь, — внезапно отпустил
упавшего

уж было духом, бледного, скованного,
неадекватного Толяна,

ослабил хватку, снизошел, даже барабанить
перестал сухими,

как сучки обструганные, пальцами по суконными
армейскими

локтями истертой столешнице.

— Вас мы ни в чем, абсолютно ни в чем не
подозреваем. Если бы хоть малейшее сомнение на
ваш счет

имелось, мы бы беседовали с вами не здесь, в
военкомате,

вдали от посторонних глаз, а сами знаете, наверное,
куда я

приглашаю остальных?

— Нет, нет, узнать вас, Анатолий, поближе я решил
постольку, поскольку кажется мне, что у нас с вами
общая

должна быть заинтересованность в скорейшем
разоблачении

тех, кто самым подлым образом, в кустах
укрывшись, просто

напросто сбежав, товарищей своих поставил под
удар.

О!

И вслед за этими словами золотыми Виктор

Михайлович стал мысль свою детализировать и
развивать, да

так психологически верно, столь тонко и
расчетливо, что ни

малейшего сомнения возникнуть не могло, конечно,
ждала

карьера фантастическая такого вот ловца душ
человеческих в

рядах бойцов секретной службы сыска.

Да, говорил лейтенант о том, о чем предпочитал

Толян не думать, не вспоминать, на счастье, на
авось

традиционно уповая.

Итак, в самом начале апреля, то есть недели за две до
злополучного происшествия в Ленинской комнате Южносибирского горного института, по едва просохшему
после весеннего полноводья асфальту молодежь города
химиков и углекопов потянулась к дверям не столько
тенорами звонкими, сколько блохами, коварно ждущими
поднятия занавеса под швами плюшевыми кресел прославленного театра оперетты Южбасса. В этом, отвоеванном прыгающими паразитами у музыкальной
общественности города здании, четыре дня подряд с утра и до
позднего вечера на радость насекомым бескрылым и
прожорливым гулял, насосом безотказным ритма накачивал
всегда готовую отдать цвет, свету, танцу огневому публику
областной смотр-конкурс дискотек и дискотек.
Впрочем, машина, перфоратор, устройство электрическое на самом деле лишь после шести.
Весь день до
этого во тьме полупустого зала жюри (компетентное и
представительное), шурша бельем нательным, кривясь,
почесываясь, но сохраняя выдержку, экзаменовало коллективы самодеятельной молодежи на политическую и
гражданскую зрелость. О, нет, не зря, не напрасно все силы

бросил Анатолий, нелепое сопротивление своих паршивцев

несмышленишей преодолевая, на отработку программы

тематической с названием к сердцам горячим обращенным

"Товарищ Хара".

Одни слайды чего стоили, тут и команданте Че с глазами просветленными, и дядя Сэм с хлебалом перекошенным, крестьяне на полях, рабочие на марше, черно

белый президент Альянде — палец на спусковом крючке,

Пиночет — бульдожья рожа в очках пижонских, штурмовые

винтовки, солдатские сапоги, и даже, кажется, нейтронная

бомба промелькнула зловещей тенью под звуки

"Венсеремоса" и песни "Когда мы едины, мы непобедимы",

фон создавая неповторимый и незабываемый для пируэтов, па

революционных, фуэте, исполненных специально

приглашенными солистами ансамбля институтского

танцевального "Шахтерский огонек".

Исключительная работа

и в результате первое место, и возможность в субботу вечером

в день заключительный Амандой Лир и Донной Саммер

потешить весь молодежный городской актив, о положении

регулятора громкости уже не беспокоясь.

Да, так, но если откровенно, начистоту, то вовсе не ради этого, конечно, два месяца (не меньше), забросив прочие

дела, готовился к большому смотру Толя. Нет, победитель конкурса — дискотек Южносибирского горного помимо грамот, вымпела и ценного подарка (магнитофона "Илеть") смог получить, добиться невозможного, казалось бы, права на большом празднике спорта и мира в столице нашей Родины необъятной, городе-герое Москве, представлять наш промышленный, богатый талантами край, иначе говоря, участвовать этим летом в культурной программе Олимпиады 80, привечать и развлекать атлетов, дискотек, метателей, если не серпа, то уж молота определенно. Был достоин чести, да, но мог и лишиться ее, не отвежать, не вкушать плодов заслуженного, долгожданного успеха, на что внимание Толика обостренное и обратил (обиняками душу отвежая сперва, намеками серьезно растревожив селезенку собеседника), уже без всяких новых экивоков, подвохов, хитростей, тон доверительный избрав на сей раз, товарищ лейтенант, гражданин красивый фуражкин, вернее кепкин, хоть и обладатель восьмиклинка пролетарского покроя, но сшитой, тем не менее, в стране, стихию буржуазную изжившей не вполне, Германской

демократической республике.

— Вы же понимаете, Анатолий, — добрел Виктор Михайлович, смягчался прямо на глазах, — покуда в этом

грязном деле не будет поставлена точка, пятно позорное не

смыто с института, едва ли может речь идти об участии

вашего, безусловно, интересного клуба в столь ответственном

мероприятии.

— Скажу вам больше, — склонился вдруг к столу товарищ Макунько, приблизил поросль уставную, усища

рыжие, рецепторы гвардейские совсем уже по-дружески,

непринужденно к лицу еще довольно анемичному Толяна,

под вопросом даже не поездка, что поездка, само существование ваше, как коллектива.

Вот так просто, по-человечески, с печалью даже, грустью в голосе, Господи, да только за это, за перемену

чудную внезапную, за знак расположения сладкий, казалось,

право, безусловно, впредь исключавший саму возможность

возвращения к вопросам, вроде:

— В случае недомогания вы к врачу обращаетесь или

вас Ида Соломоновна по-семейному пользует? — о, Боже мой,

готов был Толя, о сей, почти с приятельской небрежностью к

его щеке придвинутый прибор, колючки рыжие, иголки

безобразные с признательностью искреннею потеряться.

Но, впрочем, этого не требовалось. Сущую мелочь, безделицу, услугу мелкую всего лишь попросил Анатолия

Кузнецова оказать Виктор Михайлович Макунько.

— Поскольку вы, Толя, человек чистый, с этой провокацией не связанный, личной заинтересованности чью

либо сторону держать, по мнению большинства, не имеющий,

то, я думаю, многие именно с вами и будут откровенны. Конечно, ожидать не следует признания, но если

вы будете внимательны и, главное, не станете чураться

компании товарищей, прежде всего из состава комитета

ВЛКСМ, я полагаю, я уверен, вы не только нам сможете

помочь, но и в перспективы с вашим клубом и нашим

доверием к вам можете рассчитывать не только на поездку в

Москву или на БАМ.

О! Но это в принципе, в общем. Конкретно же, в ближайшую пару дней хотелось бы лейтенанту Макунько

через дискжокея Кузнецова деликатно и ненавязчиво

выяснить, чем все же накануне торжественного, ко дню

рождения вождя, велевшего "учиться, учиться и еще раз

учиться" приуроченного собрания отличников ЮГИ

занимались два других основателя музыкального клуба "33 и

1/3", иммунитет имевшая и к насморку, и к кашлю стойкий,

парочка — заместитель секретаря институтской организации

молодежной Василий Закс (впрочем, бывший) и верховодивший дружиной комсомольской горняков, член

комитета ВЛКСМ (пока еще) Игорек Ким.

Пьянствовали. Да.

А смесью жидкостей различных разгорячив кровь и плоть разволновав, отправились оба в сопровождении двух

или трех дружинников активных из числа тех двоечников, что

как бы вечно на поруки взяты не то студсоветом, не то

студотрядом, любимым делом заниматься, а именно, бороться

за здоровый быт, иначе говоря, весь вечер свиньи беспардонные ногами двери открывали на всех без исключения этажах общаги номер три.

Собственно, рассказом об этом чудовищном злоупотреблении общественным доверием, непрекрытом

самодурстве, самоуправстве, короче, безобразии "невиданном,

но регулярном" и смог восстановить доверие к себе, чуть было

не утраченное вовсе после невнятных, подозрительных, да

просто недостойных мужчины извинений за непростительное

опоздание, Толя Кузнецов.

— Так, так, — с приятной интонацией в голосе, с

невольной фитой носовой резюмировал его доклад,
сообщение, Виктор Михайлович, — значит, в
нетрезвом

состоянии находились?

— Да, — подтвердил Кузнец, — Вне всякого
сомнения,

головой качнул, шагая нога в ногу с высоким рыжим
лейтенантом, вглубь уходя аллеи сада
городского, под

фонарями зимними которого порой отроческой, увы,
ввиду

здоровья никудышного ему ни разу так и не
пришлось

пошаркать острыми по гладкому.

— Отлично, отлично, — внезапно выполнил Виктор
Михайлович молниеносное кру-гом, сено с соломой
перепутал, заставил возомнившего уже черт знает
что,

буквально окрыленного реакцией товарища М-ко,
Толяна,

второй за это утро, подумать только, раз позорно
дергаться,

какие-то движенья мелкие, смешные невольно
совершать.

Впрочем, сотрудник комитета особого при Совете
Министров унижать информатора, его на место
ставить и в

чувство приводить не собирался, не планировал,
нет, просто

эмоциям дал волю офицер, расстроенный донельзя
не просто

безответственностью, ах, если бы, преступным,
скажем так,

пособничеством и не каких-то отдельных
отщепенцев, а целых

групп и коллективов молодых людей мерзавцам,
негодьям и
подонкам.

Ведь от скольких он уже об этом рейде слышал, а
скольких расспрашивал, подробности той
экспедиции

карательной пытался выяснить, и никто, ну, надо
же, ни один

человек до сего момента о самом главном, что уж
говорить о

множестве подробностей, деталей, скрытых не без
умысла, о

ключевом, центральном не сказал ни слова.

Значит, приуныли малость, развеяли печаль, ну, ну,
услышал наконец-то Виктор Михайлович звук
долгожданный,

си-бемоль прикосновения зеленого к прозрачному,
схватил,

похоже, поймал мелодию, которую, как и
предчувствовал, он

должен был извлечь из стеклотары, двух
запылиться не

успевших даже в углу под стульями сосудов,
короче,

разволновался, и интуиции триумфом опьяненный,
переступил

немного грань невозмутимости привычной.

— Хорошо, — остановился товарищ Макунько,
маневрами внезапными, нехитрым способом
скрывая чувства,

дыханье восстанавливая, а так же соблюдая
дистанцию

положенную.

— Неплохо, Анатолий, — сказал Виктор Михайлович,
усы неугомонные сверкнули в лучах весеннего
светила, — ваши

сведения в общем и целом совпадают с моими, но
есть и

заслуживающие внимания особого различия. Их
изучением

мы и займемся.

О! После этих слов, такое сладкое, приятное
невыразимо сознание причастности лишило Толю
разума, что

показалось бедному, будто и впрямь за этим "мы"
немедленно

должно последовать невероятно лестное, конечно,
предложение отправиться немедленно со старшим
лейтенантом в зеленый дом на площади Советов,
дабы за

шторами, решетками и сеточкой специальной в
ячейку

мелкую по-братски разделить и тяготы ночей
бессонных и

бремя славы ДСП.

Но, нет, товарищ Макунько, уполномоченный в
гражданском реддинготе уж полностью владел
собой.

— В институт сейчас? — осведомился он с
бесстрастием
обычным.

— Но я не тороплюсь, — надежды не терял наш диск
жокей, любимец молодежи городской, красавец с
волосами.

— Никаких проблем с зачетами, экзаменами?
участлив был, но холоден и равнодушен товарищ
лейтенант,

Все нормально?

— Да вроде бы.

— Ну, что ж, — беседу закругляя, Виктор
Михайлович

Макунько Толяну Кузнецову предложил вновь
побороться за
форму, за целостность и неделимость его ладони
музыкальной. Деваться некуда, студент вложил в
сухую и
шершавую свои изнеженные пять и, спину, шею,
даже ухо
призвав на помощь, и в этот раз с нелегким
испытанием
справился.
И так они расстались.
Кокетка синяя уполномоченного разок, другой
мелькнула за деревьями и потерялась среди
стволов, побегов
молодых, листочков клейких сада, а Толя, любимец
мальчиков
и девочек, кумир, со временем идущей в ногу
молодежи на
просеку, аллею главную без приключений быстро
вышел и,
позади оставив колонны белые, высокий портик
полукруглый,
как и предполагал товарищ Макунько, направился в
прославленную (ославленную) кузницу сибирских
инженерных кадров.
Конечно, неясность с поездкой в столицу оставалась
полнейшей, о чем-то большем, обещанном как будто
бы за
мелкую услугу, старанья искренние, желанье
следствию
помочь, не стоило пока, пожалуй, и мечтать, все это
так, но
тем не менее, общение президента с товарищем
усатым
синеглазым определенным, благотворным образом
уже

сказалось на жизни клуба, вместо названия приличного имевшего знак? символ? цифру? литеру? — периодическую дробь.

Да, только энтузиастам диско-движений, поп-звуков пионерам было позволено забрать аппаратуру из опечатанной

каморки. Даже Святопуло Андрея Евстафьевича, студента

заочника института культуры, режиссера СТЭМа ЮГИ,

просившего, буквально умолявшего в слезах ему возможность

предоставить взять хотя на время, под расписку даже, какие-то

необходимые для завершения работы дипломной сценарии, и

того отказом грубым обломили, а вот этим безумным, нос по

ветру держащим флюгерам, бесстыдно развращавшим

поколение целое пустыми ритмами, мелодиями глупыми, без

долгих просьб и уговоров позволили все совершенно, до

последнего штепселя, разъемчика спокойно вынести из-за

спины широкой белой вандалами и выродками опоганенного

бюста. Впрочем, конечно, велено при сем "молниеносно, и

чтоб никто не видел".

Из главного корпуса диско-клуб переезжал в инженерно-экономический. Жизнь продолжалась, распоряженья президента исполнялись.

Приятным свидетельством чего был "пазик"
институтский у застекленного крыльца третьего
корпуса. Его,
тупорылого, Кузнец увидел сразу, едва лишь ноги
вынесли на
улицу Сибиряков-Гвардейцев. Звукооператора же
своего,
тезку Толю Громова, несмотря на сто двадцать
килограммов
живого веса, лишь подойдя вплотную и обогнув
зеленый
автобус неуклюжий. Обжора, меломан, неряха
сидел,
шельмец, на электрическом приборе, устройстве
деликатном,
колонке акустической и папирсой "Беломор",
болтая
толстыми конечностями, обутыми в ботинки
неприглядные,
определенно наслаждался.
— Все тип-топ, босс, — хрюкнул, на месте
преступления
застуканный козел, проворно спрыгнул на железный
пол,
схватил предмет, служивший только что ему
исправно, и на
ходу плевком окурок на газон невинный отправляя,
доложил:
— Уже почти все затарили.
"Вот пес", — сердито думал Кузнецов, шагая
следом,
изобретая наказания одно ужаснее другого, вплоть
до угрозы
изгнать из коллектива в предверьи, накануне
поездки
фантастической в далекий город на Москве-реке.

Но ход, полет идей административных был
остановлен, прерван неожиданным видением, Зух,
Ленчик,

глист, кишка, свинья, не слишком сегодня
церемонившийся в
аппартаментах, в клозете Кузнецова, пихтовым
ароматом

освежаемом, мелькнул там впереди, возник из
темноты

внезапно пустого холла поточных аудиторий.

Нет, он не умер от стыда, не провалился, не ушел
сквозь половицы по шею в глинистую почву, отнюдь
нет.

Завидя школьного приятеля на том конце коридора
длинного,

не попытался даже скрыться, чертяка этакий, в
проеме

лестничном. Напротив, у приоткрытого окошка
замер и

пухлыми губами какие-то невероятно паскудные
движенья

совершая, причмокивая, цыкая, он ждал спокойно
приближенья диск-жокея. Он даже время дал ему
собраться

духом для тирады гневной, но подловил на вздохе,
не дал

исторгнуть звук, с гадливостью немислимой
спросив:

— Ну, что, пархатый, последнее продал?

ЛЕНЯ

М-да.

Впрочем, одно очевидно, сей губастый субъект,
образина, щеки как бы однажды втянувший в себя, а
воздух

выдувший (по ошибке, видимо) через нос, отчего

приспособление обонятельное и без того
неклассической

формы размер обрело попросту неприличный, этот
тип,

Леонид Иванович Зухны, нечто иное в виду иметь
должен,

нечто отличное определенно, несозвучное мыслям
столь же

нескладного, но белокурого, белокожего и
безгубого Ивана

Робертовича Закса, Ваньки Госстраха, клявшегося,
между

прочим, истинный крест, в тот самый
опустошительным

набегом отмеченный вечер мальчику из слоновой,
сливочной

кости, ладному, ловкому и кареглазому Игорю
Эдуардовичу:

— Кимка, я тебе говорю. Эта сука, мордехай
хитрозадый, он спит и видит, как будет всем один,
без нас,

крутить и распоряжаться.

В самом деле. Конечно. Должен. Вопрос не в этом.

Вопрос в другом, имеет ли он что-либо разумное в

виду вообще, в себе ли Леня Зух, а? взгляд только

бросьте

мимолетный на руки, грабли, лапы этого нетрезвого
гения,

загадочных иносказаний сочинителя.

" Я полз, я ползу, я буду ползти,

Я неутомим, я без костей."

Нет, они не трясутся, мерзейший тремор,

позорнейший симптом похмелья заурядного скрыт,
смазан,

незаметен, поскольку пальцы худые, суставчатые,
длинные,

щелкунчика, уroda Лени сжимаются и разжимаются
нелепо,
несинхронно, сами по себе, в кулак как будто бы
надеются,
пытаются сложиться нерушимый, но нет, увy, не
могут
сговориться. Никак.
Невменяемый, социально опасная личность. Псих.
Вне всякого сомнения, полная противоположность
Толе Кузнецову, ничего общего, полная
несовместимость, и
тем не менее, еще совсем недавно, ни кто-нибудь, а
именно
Кузнец, там, за спиной Лени, в тени у пыльной
старорежимной бархатной кулисы на стуле
винтовом за
инструментом неуклюжим и громоздким с
навязчивой, лишь
одному ему присущей методичностью и черные, и
белые
вгонял, вбивал заподлицо с порожком
лакированным,
утраченные знаки препинания сурово расставляя.
" Она Мосфильм
Она мерило чувства меры
И образец запоминанья слов
Она Мосфильм".
Да, диск-жокеем, президентом клуба с названием,
достойным учебного пособия по прикладной
механике,
Анатолий Кузнецов был не всегда, организатором
молодежного досуга, помощником комсомола он
стал, и,
кстати, года не прошло еще.
До этого же внезапного возвышения, обретения

известного статуса и положения в обществе, свою добрую и
осмотрительную маму, Иду Соломоновну расстраивая, и
бесконечно огорчая папу, Ефима Айзиковича (казенного
лудилу, запевалу, барабанщика, уж лет двадцать, наверное,
заведовавшего отделом партийной жизни и строительства
газеты ненавистной вертихвостке Лере Додд "Южбасс") ходил
Анатолий Ефимович Кузнецов по лезвию ножа, играл с огнем,
пер на рожон, против течения греб, короче, короче никак не
мог избавиться, освободиться от жуткого влияния (дурного)
мальчишки непутевого, подростка длинношеего. Да, юноши
худого, но с безобразными губами семипудовой негритянки,
Ленчика Зухны.
Впрочем, родители как всегда ошибаются, заблуждаются, все видят в неверном свете, шиворот наыворот и задом-наперед.
На самом деле никто ни на кого влияние оказывать не
собирался, не строил козней гнусных, коварных планов
громадье, интриг не плел, нет, просто рослый девятиклассник
шел коридором школьным с ведром, наполненным водой из
крана, субстанцией прозрачной, голубоватой, в веселой

мелкой зыби коей крейсировали, волновались,
дрейфовали
вдоль бесконечного, мерцающего цинком края
мелкие
щепочки, кусочки неопознанной материи, бумажки,
ниточки,
короче, свидетели безмолвные общения вчерашнего
суровой
тряпки половой с линолеумом классным. Держал
путь к
кабинету номер 23 дежурный из 9 "В", ведро в руке
худой,
отставленной смешно, тащил, шагами коридор
длиннущий
мерил и вдруг, забыв о цели и о смысле движения,
остановился неожиданно и жидкости холодной
изрядной
толикой пол остудил.
Пролил, плеснул, ботинки замочил, но не заметил
этого, не обратил внимания. Буквально замер,
обалдел, ушам
своим не веря, на дверь, обшитую кофейным
пластиком,
ведущую из коридора на сцену зала актового,
установился в
волнении забавном. Да, из узкого проема, из
темноты за
приоткрытой створкой немыслимую чередой,
подобно
шарикам железным в игре мальчишеской дворовой,
выкатывались звуки фортепиано и, на свободе
оказавшись,
красиво рассыпались музыкой, мелодией волшебной
и
невероятной.
" Когда ты чужой, все вокруг чуждо".

Боже.
Эта кровь холодящая гармония, гусиными
пупырышками гуляющая от ключицы к запястью, до
этого
самого момента, секунды невероятной,
принадлежала только
ему, Ленчику Зухны, в его лохматой голове жила, в
коробке
черепной таилась, кружилась, нежилась, играла и в
комнате
его, в одной из двух, пожалованных в годы
совнархоза семье
художника Зухны, отстегнутых начальством
щедрым в
квартире грязной коммунальной, звучала, когда с
утра к столу
с тетрадками не чувствуя желанья встать, брал
Леня у
изголовья его панцирного ложа почивавшую гитару
и трогал
пальцами шершавыми и желтыми от постоянного
общения со
щипковым инструментом и сигаретами "Родопи",
"Стюардесса", "Ту".
Этим летом, ночью, укрывшись с головой, простынки
белизной обманывая комаров, он выловил в эфире,
поймал
таинственную станцию, передававшую одну лишь
музыку
(шалость частот мегогерцовых, подарок высоких,
ионизированных слоев холодной атмосферы),
внезапный
чистый звук в безбрежности хрипящей, воющей,
ревущей
тьмы.

Пять или шесть песен успел послушать Леня,
прежде
чем большой вонючий механизм из дальнего конца
шкалы до
пойманной иголкой красной полосы-полоски на
гусеницах
ехал.
" Не может быть", — думал, стоя в коридоре
полутемном с ведром воды осенней в руке,
смешной, нелепый
подросток, — "не может быть, невероятно,
фантастика", и тем
не менее, сомнений не было, кто-то, еще
неизвестный пока
ученик центральной школы номер три сподобился
неведомую
станцию (Радио Тэксес? Биг Би без Си, но с Ти?)
одновременно, вместе с ним июльской ночью под
звездами
сибирскими магическими слушать.
Ну, нет, конечно, нет, сей пианист неведомый, а им
окажется (через секунду Зуху предстояло
убедиться) Толя,
что-ли, Кузнецов, как будто, короче, ни рыба, ни
мясо из 9
"А", не должен был ловить, подобно Лене, ночные
звуки на
лету, у него в комнате (квартиры отдельной) был не
старый,
расколотый небрежным рыбаком "Альпинист", а
новенькая
приставка стереофоническая "Маяк". Так что Кузнец
имел
возможность, ленту шелестящую гоняя слева
направо по

десять раз на дню, не только запомнить все до мельчайшей

четвертушки, но и проверить, и перепроверить себя неоднократно.

А на сцену Толя попал вот как. Перепутал время репетиции хора, точнее день, а именно, вторник со средой. Но,

как видим, вместо того, чтобы подумать немного, пораскинуть

мозгами, сопоставить одно с другим и убедиться в ошибке

грубой, сидел и игнорируя анализ, пренебрегая синтезом,

бездумной, беззаботной игрой тревожил старый инструмент.

Непонятно еще как способность реагировать на свет при этом

сохранил, то есть заметил, что внезапно полоска желтая,

дорожка тараканья расширилась, раздвинулась и превратилась

в треугольник, трапецию разностороннюю, головку Толя

повернул, взгляд бросил влево и узрел, нет, не компанию

шкодливую альтов, для шутки гадкой кравшихся вдоль стенки,

глаза, большие выразительные очи на смуглом некрасивом

лице ровесника.

Ведро, с которым Зух не пожелал расстаться, скрывал

приставленный к стене портрет шахтера в красной каске.

— А слова, — спросил вошедший у сидевшего, — слова

случайно ты не знаешь?

— Нет, признался честно музыкант и улыбнулся, и мелкий ряд зубов приветливо при этом обнажил, — а ты?

Вот так по воле Провидения, не ведая греха, и о последствиях возможных не подозревая, у самого порога

возмужания два паренька, подростка имели возможность встретиться.

Второй раз в жизни.

Попытку первую составить роковую пару судьба предпринимала лет за десять, наверно, до этого события, еще,

пожалуй, в школу не ходили детки, однако, по недосмотру

очевидному в присутствии родителей и ничего поэтому у гнусной бестии не вышло.

Да, летописец медноглазый свершений славных (зануда с пером, сверкающим на лацкане графитном пиджака

двубортного) Ефим Кузнецов и оформитель, художник,

таинственными жидкостями, без коих невозможен творческий

процесс — олифой, скипидаром, керосином пропитанный

настолько, что даже самый злонамеренный начальник не смел

с категоричностью оргвыводы влекущей утверждать, несет ли

так от рук, от пятен на рубашке клетчатой или разит из пасти

Зухны Ивана, кривой и неопрятной, служили одному делу, в

одном месте, а именно, в газете с орденом красивым,

приткнувшись к названию "Южбасс", флагмане пролетариев

южносибирских, органе всех мыслимых общественных,

советских и профсоюзных организаций, рупоре (горлане,

агитаторе, главаре) желтом, четырехполосном с программкой

телевидения на каждый день, а в пятницу на всю неделю

разом.

И оба, надо же, на елку редакционную в году веселом

шестьдесят шестом, или, быть может, шестьдесят седьмом,

двух мальчиков, конечно, каждый своего, одновременно

привели. И они, сведенные случайно Дедморозом с зудящейся

от ваты, красной ряхой, на удивленье слаженно, красиво "а

капелла" исполнили о настоящей дружбе романтическую

песню:

" Уйду с дороги, таков закон,

Третий должен уйти".

Полакомились шоколадом вместе, но по домам пошли

отдельно.

Ну, да, конечно, что общего могло быть у симпатичного, одетого в костюм Партоса, кудрявого

сыночка

румяного Ефима и неухоженного, в бумажном колпаке с

цветными звездами нелепыми, вихрастого, носатого
потомка

сквернословия Вани.

Ничего.

— Вот так, Толя, — дорогой комментировал папаня
Кузнецов отсутствие ушей из плюша, усов из старой
шапки и

лихого картонного хвоста у Лени, певшего
красиво, — цени,

голубчик, то, что для тебя мы с мамой делаем.

Угрюмый же человек, ребенок нелюбимый

машиниста грубого со станции Барабинск, Зухны

Иван

Антонович, с привычной мрачностью послушав сына
болтовню:

— Ты знаешь, папа, этот мальчик, который пел со
мною

сегодня, живет через дорогу от "Универмага", —
завел мальчика

на набережную в забегаловку, стакан с рубиновым
напитком

опростал, дождался, пока наследник проглотит
последний

скользящий пельмень, и, завершая празднество на
этом, заметил

хмуро:

— Я тебе скажу одно, держись-ка ты от этих жидов
подальше.

Ни больше и ни меньше, конец и точка.

Угу.

Кто мог предположить тогда, что в этой жизни
размеренной и упорядоченной раз и навсегда
балансом

интересов материальных, внезапно, вдруг, в один
прекрасный

день из тьмы (с небес буквально) необычный голос

завораживающий, переворачивающий душу,
прозвучит, и
явится маньяк, алкаш, шаман, безумец круглолицый
и,
разницы меж иудеем и греком не ведая никакой,
заманит всех
во мрак Грейхаунда ночного автобуса, ведущего
упорно
красным габаритным огоньком неоновую линию над
черным
полотном пустынной федеральной номер шесть от
северо
востока к юго-западу?
Никто.
Ну, ладно, предполагать, предвидеть неспособность
простительна, быть может, но игнорировать, упорно
и нелепо
не замечать, что это Мистер Моджо, во весь рост
поднявшись,
расправив плечи, единственный огромный и
великий,
указывает к звездам путь, косматый шарлатан под
лунным
нимбом варварским, сие, определенно, прискорбный
признак
профессиональной непригодности партией
мобилизованного и
призванного бойца идеологического фронта, Ефима
Кузнецова.
Конечно, и тем не менее, со стороны, с той, что
лишь
свежесть гуталина позволяет различать под белую
коростой
соли коммунизмовской, навязчивое создавалось
впечатление,

казалось, представлялось, будто всего лишь
прилежный

ученик, усидчивый и аккуратный Толя Кузнецов
внезапно под

дурное влияние попал подростка непочтительного,
дерзкого,

лишенного к наукам склонности и интереса, зверька
угрюмого, глазастого и злого, Ленчика Зухны.

А подтверждением тому ну вот хотя бы печальный
случай, происшествие, ЧП, в истории спецшколы
номер три

для одаренных девочек и мальчиков отмеченное,
как "те

самые", да, да, жуткие и безобразные "те самые
танцы".

Действительно.

Но прежде чем за описание взяться очередной
облезлой елки профсоюзной, казенных хлопьев
белых,

свисавших с потолка на ниточках разновеликих,
гирлянд,

фонариков, серебрянных полосок из фольги
железной, ну, в

общем, торжеств привычных по поводу грядущей
смены

холодного без меры студенья совсем уж лютым
просинцем,

невозможно в который уже раз не подивиться игре
небесных

сил, непостижимая прихоть коих способна сделать
внука

прачки, безропотно стиравшей с утра до ночи
дорожными

ветрами пропыленные рубахи, злодеем,
возмутителем

спокойствия, изгоем, пугалом, чудовищем на двух
ногах, а
правнука солдата, кантониста беглого, бродяги,
арестанта,
каторжника личностью приветливой, мягкой,
ненавязчивой,
как бы всегда нечаянно, без умысла, без задней
мысли,
нелепой волей обстоятельств вовлеченного и
втянутого во
что-то безобразное и неприемлемое в принципе.
Но, впрочем, размышляя здраво, ну кто вниманье
обращает на пианиста, в углу за инструментом
полированным
пристроившегося скромно, притулившегося, в тот
миг, когда
пластмассовым зубочком, коготком, реветь, стонать
и плакать
заставляя колонку черную с красивой самопальной
вязью букв
"Маршалл", суровый, непреклонный гитарист у края
сцены, у
микрофона, слова отчаянно вдогонку звуку резкому
струны,
зажатой с двух сторон, выкрикивает, отправляет.
" Люби меня раз,
Люби меня два,
Люби меня три".
Да, молчал, молчал, стоял всегда не то спиной к
публике, не то боком, брэнчал чего-то там
невыразительное и
вдруг, мама родная, очами зыркнул полоумными, к
рампе
шагнул, к стойке с прибором звукочувствительным
приблизился решительно, потрянул кудрями, боднул
башкою

воздух липкий и что-то явно репертуаром
утвержденным не
предусмотренное, всю банду бравую лабать
заставил.

— Пока я твой,
На часы не смотри.
Люби меня раз,
Люби меня два,
Люби меня три.

Вот какой чудовищной, немыслимой, недопустимой,
право, выходкой гитариста ансамбля школьного
вокально

инструментального Леонида Зухны был омрачен,
испорчен

Новогодний праздник выпускников,
десятиклассников, бал без

напитков, но с грамотами почетными и флагом
переходящим,

устроенный стараниями педколлектива дружного в
фойе с

колоннами (полом мозаичным и фризами
кудрявыми)

рабочего клуба над заведением учебным со дня
рождения

шествующего предприятия орденосного.

Такой вот дебют.

В самом деле весь предыдущий год пел:

"Даром преподаватели" и "Только не надо
переживать", звонко, но без надрыва, попутно, как
бы заодно,

из-за укрытия, засады-баррикады (правая рука на
настоящих

костяшках полированных старинного, с чугунной
рамой

инструмента, левая на белой, копеечной пластмассе
клавиш

свистелки электрической "Юность") под занавес не частых, но регулярно дозволяемых по соображениям сугубо физиологическим, директором образцовой школы товарищем Старопанским вечеринок, Толя Кузнецов. Он же, проверенный, испытанный солист большого хора школьного, легко получивший ключи от каморки на втором этаже, где пылились перламутровые, в паутине разноцветных проводов инструменты, считал разумным (да, год, наверное, крамольным мыслям, побужденьям воли не давал) на публике играть одно, а, вечером, после уроков, в пенале с видом на грязную теплицу запершись, нечто иное, чумное, дикое, в безумный трепет душу приводящее. Да, казалось бы, инстинкт врожденный отторженья, неприятия поступков необдуманных имел Толян, к безумствам был не склонен от природы, но, увы, как видим, и его, правильного мальчика с ушами чистыми и идеальными ногтями, ночные прелюбодеяния с неистовым безумцем из города Эл-Эй до добра не довели. То есть нечто природой не предусмотренное в принципе, произошло, случилось с головой этого аккуратного хорошиста, если он, казалось бы,

органически неспособный реагировать на предложение типа:

— А что, Кузнец, не дать ли им всем разок просрать?

ответил не ставящим на место, пыл охлаждающим, мгновенно

приземляющим:

— Ты, кстати, Леня, "Отеля" пленку мне возвращать думаешь? — нет, безобразным, самоубийственным буквально,

согласием:

— Ну... пару песен...наверно, можно вставить в середину.

Невероятно. Одно хоть как-то если не оправдывает, то

со временным рассудка помрачением мальчика из образцовой

семьи примиряет. Может быть, возможно, он просто наивно

предполагал, надеялся, невинная душа — в разгар веселой

танцевальной бани программы, заверенной и утвержденной,

изменение никто не фиксирует, пропустит, не заметит.

Возможно.

Итак, мало того, что правый зрачок Надежды

Ниловны Шкотовой неудержимо стремился, так и норовил

водораздел проклятой переносицы преодолев, перекатиться в

левый, стеклянный от напряжения глаз, сим завучу мешая

объемы и цвета воспринимать в гармонии прекрасной, оба уха

шкраба настолько чутко реагировать способны были
на
перепады температуры окружающей среды, что во
избежанье
звона, резей острых и более ноющих и то, и другое
приходилось незаметно, конечно, ватными
комочками
закладывать, всецело полагаясь таким образом в
педагогической деятельности на два всего лишь из
шести
дарованных природой человеку чувства, а именно,
осязание и
обоняние. Короче, стоит ли удивляться, если
Надежда
Ниловна и в самом деле прослушала и просмотрела,
зевнула
попросту момент внезапной смены чистого тенора
нарочито
хрипловатым баритоном.
Вот и рассчитывай после этого на дуру, ну, раз в
жизни, один лишь только, Георгий Егорович
Старопанский не
проследил за мероприятием лично. То есть
задержался всего
то навсего в зале, продлил себе еще минут на
двадцать
торжественную часть, сумел беседой увлечь такого
школе
нужного замгенерального объединенья
шефствующего,
заговорил, в президиуме удержал, ну, Боже ж мой,
имел в
конце концов право, на входе члены родительского
комитета,
в фойе дружина комсомольская...
О, дура, коза, идиотка...

Да, оплошала, нечего сказать, стояла у колонны и
вопрошала недоуменно, к невероятно хитрой и
коварной
клеветке, словеснице Жанне Вилиновне лицо,
глупейшую
физиономию поворотив:
— А сколько времени?
Затылком, макушкой ритм ощущая ненормальный,
несчастливая рыба начала подозревать, решила будто
всего-то
навсего из побуждений хулиганских четыре негодяя
порядок
номеров программы обязательной нарушили, не в
конце, не
вместо коды, как положено, а в середине вечера, в
разгар
опасной отчаянной работы всех желез уже
недетских
организмов, надумали негодяи песню" День
рождения" на
английском завести, песню разухабистую,
непристойную
почти, коей снисходительно Егор Георгиевич,
контакт
стараясь с молодежью не терять, веселье
завершать обычно
разрешал под общий гвалт и аплодисменты.
Но, свят, свят, Анатолий Васильевич, страстотерпец
с
козлиным клинышком на подбородке, муз
пролетарских
угодник, как гнев самого товарища Старопанского
описать, в
фойе нырнувшего, вылетевшего и сразу
моментально

осознавшего, спаси, помилуй Районо, поют, поют-то
всю эту
дикость, шум вместо музыки усугубляют русским,
родным,
прекрасным языком:
"Возьми эту правду,
Но лучше оставь нашу ложь".
Исключить! Выгнать всех до единого завтра же с
волчьим, причем, билетом.
Он жаждал, позыв неодолимый колено к заду
приложить одному, другому, с размаху двинуть,
припечатать,
разок, другой, Георгия Старопанского нес, влек,
тащил
поперек взбесившегося под елкой, ошалевшего
фойе, "ну,
хватит, хватит либеральничать", мысль билась в
голове, грозя
сосуды разорвать, блестящий гладкий черепок
заполнить,
затопить сознания местность пересеченную, покуда
задыхаясь,
расшвыривал директор детишек обезумевших,
буквально
обалдевших, свихнувшихся как будто, торопил
дорогу к
возвышению в торце, площадке, полыхающей
огнями
многоцветными.
" Зачем тебе это завтра,
Если сегодняшней день хорош?"
Собственно, сей животный инстинкт защиты
территории, ареала от посягательства извне, границ
незнающая ярость, четверку юных идиотов и спасла,
да, ибо

продравшись, прорвавшись сквозь ораву
ополоумевших
десятиклассников, сквозь протоплазму под звуки
дерзкие,
лихие внезапно потерявшую и стыд, и срам, Георгий
Егорович
озверел, осатанел настолько, что сокрушая все и
вся, в лучах,
остыть, опомниться ему не позволявших
прожекторов, сломал
несчастному поэту в день краткого, но
триумфального дебюта
ногу. Берцовых парочку сестричек, желание не
загадав, к тому
же обе сразу.
Ребенку? Ногу?
Ай-ай-ай.
Итак, второе полугодие Зух, хулиган, бунтарь,
негодник начал, два костыля железных
демонстративно
сваливая в проходе между партами, ну, а
педколлектив был
вынужден, следы путая, хвостом снег заметая,
таясь, хоронясь,
к земле припадая и мимикрируя, ограничиться
выговорами,
беседами, внушениями, двойками внеплановыми, в
общем,
мелкими пакостями, душе ни радости, ни
облегчения не
приносящими, зато поганцу, повстанцу, партизану,
черт его
дери, и славу, и авторитет.
И не ему одному, зачинщику безобразия
очевидному,

всем четверем героям того незабываемого вечера
досталось по
куску изрядному пропитанного ромом торта с
гусями,
лебедями жирными всеобщего внимания и
восхищения, да,
каждый насладился изрядной порцией
рукопожатий, тычков,
хлопков, ухмылок, вкусил косноязычного восторга
мальчишеского вдоволь, а кое-кто, как утверждают,
и плод
несовершенства аппарата речевого девичьего
счастливо
пригубить сумел.
Эх, славные то были денечки, незабываемые,
впрочем, сознаюсь, в душе обласканного
сверстниками
Кузнеца боролось, мешалось, соединялось подло
чувство
законной гордости и удовлетворения глубокого
постыдным,
заурядным страхом, ужасом. Мохнатые ресницы,
густые,
проволочные взбешенного директора над Толиной
макушкой
трепетали, взлетали, разлетались и ощущение
длани
неизбывное, ладони, будто бы зависшей в тот вечер
феерический над головой его, несчастной руки
тяжелой,
готовой в любой момент проехаться как следует,
пройтись по
нежной юношеской шее, не оставляло пианиста
бедного ни
днем, ни ночью. Конечно, он не признавался, вида не
показывал, но выдавали походка и осанка.

— Ты что-то бздеть стал сильно, Толя.

— Нет, я просто должен идти, я маме обещал быть дома

в девять.

Кривой улыбкой только лишь на это мог ответить Зух.

Он ничего никому не обещал. Попросту некому было.

Увы, подросток трудный, дерзкий, хулиган, короче, рос без матери. Ему, носатому, нескладному, губастому

неведомо было тепло руки, непроизвольно утешающей

поглаживаньем ласковым родную забубенную, отчаянную

плоть.

А все потому, что Ленин отец, сын прачки и машиниста, учащийся училища художественного, надежды

подающий график Иван Зухны влюбился, вот те раз, сухим и

жарким летом шестидесятого в еврейку, дочь профессора

мединститута, девчонку городскую, практикантку синеглазую

Лилю Рабинкову. Он с ней гулял под звездами таежными и

рисовал то в образе доярки совхоза "Свет победы", то в робе

крановщицы Любы с далекой стройки романтической.

И девушка как будто отвечала юноше взаимностью, но...

Но, соединиться двум сердцам на этом свете не было

дано, не суждено, сию безысходность мирового устройства

Иван Зухны осознал, явившись с алыми осенними цветами

впервые в жизни к любимой в дом и сразу же на день

рождения.

— Вот, — пробормотал он, в прихожей протягивая Лиле

ее портрет на фоне березок гладкоствольных, и папа Рабинков

как-то нехорошо переглянулся с мамой Рабинковой.

Еще за вечер раза два с пренеприятным чувством их засекал, ловил на этом молниеносном обмене взглядами

многозначительными.

А на прощанье, когда уж собираясь, Ваня, возможно, от смущенья или, кто знает, достоинство храня, от ложки

обувной нелепо отказался:

— Да, ничего, я так одену, — из-за спины любимой дочери профессор соизволил его поправить с улыбкой гнусной на лице.

— Наденете, молодой человек, наденете.

Жиды, жидяры, жидовня. Эти знакомые с детства слова покоя не давали Ване всю дорогу длинную от дома

Рабинковых до общаги. Но, хоть это и смешно, но ужасные и

мерзкие, они, как бы не относились к Лиле, коя в мозгу

художника Зухны существовала, пребывала как бы отдельно

от мамочки, от папочки, на которого, кстати, была похожа

необыкновенно. В общаге, заняв бутылку самогона у соседа,

Иван надрался так, что не явился в училище на следующий день.

Впрочем, пришел в себя, к прохладному оконному стеклу лбом припадая, унял дурное головокружение, чайком

желудок, кишечник, взволнованный необычайно, промыл и

стал опять исправно посещать занятия, а к Рабинковым

больше не ходил. Не ходил и все тут. Никогда.

Встречался с Лилей, молчал угрюмо, ее сопровождая

в кинотеатр или на вечеринку, потом по снегу белому под

небом черным провожал до дому, прощался неуклюже и

уходил, чтоб в одиночестве бродить по улицам ночным,

скрипучим. Холодной и сырой весной прогулки вдоль апреля

при обуви худой, конечно же, закончились унылым воспаленьем легких, больницей, где в белом вся

Ивану делала

инъекции четыре раза в день губастая и скромная сестренка

Соня. Соня Гик, на ней-то всем и вся назло, уже распределившись в газету южносибирскую "с

предоставлением жилья", вдруг взял да и женился в мае Ваня.

Да. Взял-таки дочь племени их подлого, вырвал свое.

И был наказан, его неразговорчивая, темноокая

детдомовка через семь месяцев всего-то, уже в
родзале

южносибирской городской, дав сыну жизнь, сама, не
приходя

в сознание, отошла.

Ах, гнусный род, а он еще ребенка назвал, как этого
покойнице хотелось, не знал, не знал, как
дьявольски и

хитроумно умудрилась она пометить его мальчишку.

Врожденный порок сердца, Ивану объяснили
доктора,

когда мальчика повел он выяснить, что же мешает
пятилетке

носиться вместе со всеми по двору.

Вот так, казалось бы, какие могут быть вопросы,
забудь их нацию бесовскую, не подходи, но нет,
подросток

непослушный не желал, и все тут, учиться на
ошибках отца

родного.

Увы.

Но справедливости ради заметим, в доме
Кузнецовых,

уютной, теплой крепости семейства праведного к
этому

непутевому, не в пример другим домам приличным
города

промышленного на скальных берегах реки Томи

воздвигнутого врагами народа трудового
троцкистами,

бухаринскими прихвостнями Норкиным и
Дробнисом,

относились хорошо. То есть Толина мама, Ида
Соломоновна,

даже и не подозревая об общности скрываемой,
умалчиваемой

кровей, а только лишь, похоже, подспудно вину чужую

ощущая, за недоучек, эскулапов, за безалаберных коллег крест

принимая добровольно, и кров, и стол всегда была готова

предоставить парнишке долговязому.

Вообразите, и даже после ужасных новогодних танцев, когда носитель, проповедник идей передовых,

моральному кодексу простого верхолаза и каменщика стройки

коммунизма верный, сурово и решительно отрезал:

— И чтобы впредь в мой дом глист этот ни ногой!

Ида Соломоновна ему ответила с укором тихим и печальным в голосе (христианский, право, демонстрируя при этом фатализм):

— Но, Ефим, мы же не можем вот так вот взять и выгнать из дома сироту.

Который... который...да, с прискорбной, безусловно, неосмотрительностью, на ровном месте, без сомнения,

конечно, но, Боже мой, всего лишь оступился.

Оступился. Такое вот, господа, ужасное заблуждение.

Но простить доброй женщине его можно и нужно, ведь на двоих паршивцев, Кузнецова и Зухны, был дан

Создателем всего лишь один язык, и он, к несчастью находился у Толяна. Так что могло, вполне могло и у существа

куда более хитрого и проницательного сложиться впечатление

превратное — ошиблись в самом деле мальчики, желая в центре

быть внимания, всеобщим восхищением, любовью
наслаждаться, неправильный, напрасный, просто
детский,
глупый поступок совершили. Короче, доктор, врач,
специалист, неверный ставила диагноз, на кухне
собственной
за разом раз прискорбный факт один и тот же
отмечая,
губастный юноша нескладный все чаще и чаще
котлеткам с
рисом чаек пустой предпочитает. Увы, сие не
признак
огорчительный гастрита раннего на почве слабости
сердечной,
это симптом пугающий безумья, маниакального,
навязчивого
стремления быть злым, голодным, одиноким. Но
вовсе не для
того, чтобы пленять горящим взором окружающих,
сурово и
неумолимо мозги им всем вправлять носатый
жажадал Зух
гитарой электрической.
Лови! Отваливай! Следующий!
Им всем, которым правда и смысл существования
недоступны хотя бы потому, что никогда игла
стальная не
прошивала их насквозь, лишая воздуха, движенья,
жизни...
Итак, они должны были расстаться, рано или
поздно,
эта нелепая, но столь типичная для времени
всеобщего
крещенья звуком, вокалом сумасшедшим обрезанья,
пара.

Конечно, безусловно, определенно, Толе с Леной было не по пути, но, как ни странно, еще почти три года, насыщенных разнообразными событиями, потребовалось Ленчику Зухны, дабы в душе его дозрела наконец до состояния немедленного разрешенья требующего потребность явиться вечером и облевать с цветочками богемские обои, а если хватит ветчины, то и дорожку полосатую ковровую в прихожей чистенькой, ухоженной, Толяна Кузнецова, товарища по школьному ансамблю вокально-инструментальному. Да, кстати, как водится, самое значительное из всех событий, происшествий, мельчайших радостей минутных и крупных, омрачающих не день, не два, а целые недели неприятностей, сложившихся подобно кубикам в трехлетья конструкцию, на свое место встало столь буднично и скромно, что вездесущий глаз соглядатая молчаливого момент сей эпохальный не зафиксировал вообще, не приукрасил, не раздул, противным шепотком гулять по кругу не пустил рассказец гнусный, а посему интуитивная догадка Ленчика Зухны, на веки вечные так и осталась всего лишь мерзким и

беспочвенным предположением.
А между тем, он не ошибся, сынок художника, внук
прачки и машиниста, истопник котельной
центральной бани с
номерами. Действительно, однажды мартовской
порой, в
библиотеку институтскую спеша, надеясь учебник
нужный до
закрытия с железной полки получить, студент
первого курса
инженерно-экономического факультета
Южносибирского
горного института Анатолий Ефимович Кузнецов,
лишился
мотивации внезапно, остановился среди коридора
полутемного, паркета старого щербатого, как
оказалось,
метров тридцать до входа в пахнущее червями
книжными,
должно быть, хранилище по воле случая слепого
пощадил. Но
нет, не музыкой (полного зеркального совпадения,
увы, он не
добился) всего лишь привлеченный, огромным
объявлением
огорошенный, куском дурного ватмана А3-формата,
который
был небрежно присобачен, определенно, полчаса
каких
нибудь тому назад к двери с табличкой
незатейливой и
скромной "Комитет ВЛКСМ".
"Весна-78" — привычно, броско, лихо на белой
пористой поверхности гуашью алой некто соединил
слова и

цифры, в углу птенца с огромной неуклюжей нотой
в клюве

прилепил, а снизу, уняв вдруг неизвестно почему
задора

молодого прыть, пером железным, строгим,
редисным,

толково пояснил: "Ежегодный отчетный смотр-
конкурс

самодеятельных коллективов и ансамблей".
Назначалось

мероприятие на апрель.

Ну, да, конечно, как же, об этом слышал Толя, то
есть

ему говорили осенью, ключи от очередной коморки с
инструментом вручая, на сей раз в деканате:

— 29 октября в день молодежи у нас обычно
факультетский вечер, на Новый год вы тоже
обязательно

должны играть, само-собой восьмое марта, ну, а
там, там

главное. Не вырвете первое место на студенческой
"Весне",

попросим освободить помещение. Имейте в виду.

"Ага", — едва успел подумать Кузнецов, как дверь с
табличкой лаконичной отворилась, и на пороге
объявился, ба,

в плаще распахнутом, отменном заграничном
светлом,

линейка галстука бордового от кадыка до пряжки
(значок

сверкнул, мигнул, конечно же, да не простой,
украшенный

плюс к капельке казенной головы словами золотыми
"Ленинская" и еще "поверка") сам, собственной
персоной

вожак всей институтской молодежи, плечистый
тезка нашего

героя, освобожденный секретарь, Анатолий
Васильевич

Тимощенко.

Впрочем, в сем появлении внезапном нет ничего
особенно уж примечательного. Ну, работал человек,
доклад

готовил к собранью общеинститутскому весеннему,
сверял

план-факт, проценты вычислял прироста и привеса,
оттачивал

абзацы в разделе "самокритика", трудился,
трудился, да устал,

отбросил ручку, потянулся, взгляд кинул за окно,
встал, плащ

накинул, в карман засунул пачку "Ту", кейс
прихватил, свет

потушил и...

Нет, не вышел. Вот это-то и замечательно, хотел, но
нос к носу столкнулся с юношей лохматым, лист
объявления

свежего с завидным интересом изучавшим.

Ну, ну.

И тут отметим, согласимся, не зря, не за красивые
глазенки карие товарища Тимощенко на должность
руководящую молодежь заведения учебного
единодушно

выдвинула, а орган вышестоящий без лишних
возражений

кандидатуру поддержал. Был дар, определенно
умел с людьми

работать сей краснощекий организатор масс. И не
одно лишь

чванство, хамство и пошлость, соединенные в лице

номенклатурном, являл он, приговаривать любивший:

— Да я вас всех насквозь вижу, — похоже, что действительно, талантом препарировать, заглядывать в

таинственные душ чужих пределы, отыскивать там клавиши и

струны потаенные, был наделен Тимоха, товарищ Анатолий.

И в самом деле, ну, казалось бы, какое ему, человеку

партийному, дело до тетки, обросшего, прямо скажем,

безобразно, одетого в какой-то непотребный свитер пестрый, с

флажком страны далекой и враждебной, приколотым на грудь,

на то место, где должен профиль дорогой сиять на фоне

сочном леденцовом, и в довершение всего в штанишках синих

поношенных, швами наружу. Да никакого. Захлопнуть дверь,

по тени длинной коридорной подошвой каучуковой пройтись,

и до свиданья. Чао.

Но нет.

— Ко мне? — спросил он Толю Кузнецова с улыбкой дружеской и тут же, словно не сомневаясь в ответе положительном, посторонился, махнул рукой, гостеприимно,

по-товарищески, просто, приглашая, ну, заходи, коли пришел.

О чем он говорили больше часа, беседовали под стягом сидя малиновым, тяжелым, обшитым желтой бахромой? Да так, вроде бы и ни о чем.

Был мимоходом секретарь освобожденный
оказывается, присутствовал, а как же, в огромном
холле

электро-механического корпуса, с соратниками
скромно,

ненавязчиво, минут пятнадцать, двадцать наблюдал
из

дальнего угла, у гардероба стоя, за веселящимся
студенчеством экономического факультета.

— Слышал, слышал, конечно... да вот не понял
только,

что это вы там про шпионов-диверсантов такое
пели?

— Про шпионов... Да нет, это про любовь.

— Про любовь?

— Ну, да.

" Я лазутчик в стране круглых лбов,

Я вижу во тьме,

Я слышу во сне,

Я знаю смысл таинственных слов".

— Интересно, интересно... А круглые лбы, это на
кого

намек?

— На родителей... на тех, кто лезет во все...

Короче, сидели, толковали о том, о сем, из корпуса
уже пустого вышли вместе и на крыльце расстались
дружески.

Товарищ Толя пошел в свою гостинку, а Кузнецов
домой и по дороге окрыленный (ну, непонятно,
право, чем)

вдруг песню написал, сложил внезапно. Не всю,
конечно,

сразу, но мелодию, припев придумал и один куплет,
а утром

встал и остальные два досочинил. Вот так, впервые
в жизни.

Отличился.

Но, увы, именно с этого приступа вдохновения и начался разлад между приятелями, Кузнецовым и Зухны,

который ужасной, мерзкой сценой напротив туалета женского

(у входа в темный узкий холл аудиторий электро механического корпуса) всего лишь пару лет спустя прискорбно подытожен был.

Песня не понравилась Зухны решительно. То есть начало только лишь услышав, "фугас — на нас", "страны

войны", такую рожу кислую состроил Леня, что плавный

переход аккордов музыкальных одного в другой слегка

подрастерявшийся Кузнец невольно парой неуместных пауз нарушил.

Когда же руки с клавиш он убрал совсем, то беспардонный, грубый Ленчик ему сейчас же предложил

такой вот джентльменский вариант:

— Я, бля, одно могу пообещать, если ты больше об этой херне не вспомнишь никогда, то и я никому ничего

никогда не стану рассказывать.

Короче, играть, исполнять, на конкурсе за место первое бороться отказался наотрез. То есть, Тухманова с

Антоновым, вроде как бы черт с ними, готов был ради дела,

прикрыть, инструментов, комнатухи этой без окон, без

дверей, а Кузнецова, значит, на фиг. Обидел, что и говорить.

Более того, подвел невероятно, ибо для выступления на

фестивале студенческом ему пришлось искать замену, срочно,

Петь мог Толян и сам, а звуки одновременно извлекая из

пианино и органа электрического, еще и на гитаре тренькать,

уже никак.

Ну, в общем, началось, поехало. Кузнец с товарищами

взял первую свою высоту-высотку, пядь в мире серьезных дел

и начинаний важных, гражданской темой покорив жюри. А

Зух два дня спустя, с дворовым шалопайским шиком пивко

несвежее залив портвейном непрозрачным, не только словом,

но и действием надумал унижать достоинство седого ветерана,

вахтера электро-механического корпуса ЮГИ, стаканчик

белой чистой по-простому, по-людски, хрустящей луковкой

заевского.

— Куда ты прешься, идол, на ночь глядя?

— Репетировать.

— А девку на чем играть ведешь?

— Тебе какое дело, старый пень? На барабане...

Хорошо, Шурка Лыткин, одноклассник, фэн, свидетель и участник "тех самых" развеселых танцев, студент

механик ныне, как раз в этот самый вечер дежурил

В

раздевалке, услышал шум, из амбразуры выскочил,
оттер
майора отставного, словами правильными, строгими
сбил с
панталыку, мысли спутал, суровым, грозным:
— А, ну, давай, давай, — ввел в заблуждение, и
боком,
боком, отступая ловко, в дверь вытолкнул кретина
Леню, увел,
спас дурака, но чертов хрыч все равно на утро
докладную
длинную составил, сочинил, и Толя из триумфатора,
героя,
сейчас же превратился в лгуна последнего, недели
две во
всевозможных кабинетах обязанного объяснять, как
старый
особист и вертухай мог так нелепо обознаться.
В общем, судьба стремительно их разводила.
Зух убеждался с каждым днем — друг богу изменил,
неистового предал Моджо-Встань-с-колен, безумца,
с лицом, в
бой увлекающего орды воинов Тохтамыша. На
сладкое тю-тю,
сю-сю, ребятушки, козлятушки, отчаянный, дикий
воплъ:
— Пленных не брать! — в испуге потном променял.
Ну, а Толя? Он вовсе так не думал, вины за собой
никакой не чувствовал, все ту же гриву расчесткой
частой
мучал поутру, и в то же самое индиго облакал
заметно
округлившееся, но не пастозное, не рыхлое еще
пока, нет,
гладкое, приличное вполне седалище. Он был о'кей,
тип-топ, а

Зух не в кайф, не в жилу, он разрушал себя и дело общее,

былое обаянье уходило, терялось, и лишь усиливался запах,

назойливый и мерзкий того, чем накануне, после звезды

вечерней, разговлялся худой и желчный кочегар.

Короче, внезапно стало ясно, что Толе с Леной не катит. М-да. И окончательно этой осенью, когда движенье

дискотечное Кузнец с благословения начальства институтского, если и не возглавил, то за собой повел

определенно. Собственно, с момента согласования в горкоме

ВЛКСМ репертуара клуба, ничего практически уже не

связывало бывших выпускников центральной школы номер 3.

(Толя, кстати, хотел назвать клуб "Желтая подводная

лодка", но убедить товарищей не смог, возможно, акроним

нечайный ЖПЛ смутил, или же от упоминания морских

глубин, пучины темной неволью пахнуло, повеяло диверсией

какой-то, не дай Бог, идеологический, может быть, но так или

иначе, пришлось Толяну порыться, покопаться среди любимых пленок еще денек, другой, прежде чем отыскался

приемлемый вполне, нейтральный вариант — " 33 и 1/3 ").

Да. ничего, ничего Толю с Леной больше не

связывало. Ничего, кроме... кроме комнаты,
каморки, логова,
помещения без окон, в которое вела из холла
поточных
аудиторий низкая, тяжелая, обитая железом
толстым дверь.

Там, внутри, в унылом полумраке, разъедающем
глаза, в углу,

на колченогом стуле, без зрителей, в угрюмом
одиночестве,

качаясь (сам себе и камертон, и метроном),
железной ножкой

отбивая ритм, играл часами, сутки напролет
(отлучек к топке

не считая кратких) одно и то же, одно и то же, Леня
Зух.

" Я полз, я ползу, я буду ползти

Я неумолим, я без костей".

Иногда случалось, правда, и не так уж редко,

компанию ему составлял еще один участник бывший
квартета

боевого — Дима Васин. Толя, обретший редкий,
экзотический,

пленительный статус дисжоккея, практически не
появлялся; не

лез, не интересовался ничем особенно, хотя незримо
присутствовал, конечно, постоянно. Ответственный

за

противопожарное состояние Кузнецов А.Е. -
табличка

извещала на двери, встречала, провожала каждого.

Да, он покрывал их сомнительные посиделки своим

авторитетом, положеньем рисковал, да, черт
возьми,

действительно, ведь Зуха, кочегара — через два дня
на третий,

не то чтоб в комнату с материальными ценностями,
в само
здание, в третий корпус ЮГИ (в котором этажи в
неравной
пропорции делили электро-механический и
инженерно
экономический факультеты), по доброму пускать-то
не
должны были вообще, а что до Димы Васина, то он
хоть и
имел, вне всякого сомнения, конечно, в свое время,
право
художественной заниматься самодеятельностью в
стенах
родного ВУЗа, но к весне этого года священное
утратил,
оказавшись в столь незавидном положении, когда
лишь выбор
между майским или ноябрьским призывом остается.
Короче, Бог свидетель, Кузнец был добр и
милосерден, и выгонять несчастных этих двух
отнюдь не
собирался, когда команду отдавал своим
дискотечным
гаврикам перетаскать аппаратуру клубную из
главного
корпуса в электро-механический, в каморку без окон
с обитой
жестью низкой дверью. И тем не менее, и тем не
менее,
именно такое у Димы с Леной сложилось
впечатление. Их
выселяют, выставляют, все, кранты, конец.
То есть, нет, Димон пытался поначалу даже в
обратном Зуха убедить, не верить слухам
предлагал, не

поддаваться панике советовал, но, увы, вчера вечером, едва лишь приспособились они писать на старую "Комету" вокал, дверь в их берлогу (оплошно не запертая, не зафиксированная засовом) приотворилась, и рожа сальная подручного Толяна, шестерки Громова просунулась, ощерилась и чмокнула:
— Сидите? — поинтересовался гад и засмеялся, захихикал, — Ну, сидите, сидите, последний ваш денечек.
Завтра попрем вас на фиг.
Дальнейшее, в общем-то, уже известно, Зух с Васом нарезались, надрались, нагрузились по ватерлинию по самую, последний удержать пытался первого от позднего визита к товарищу былому. Но Зух, упрямый, пьяный, невменяемый, конечно, вырвался, явился, без приглашенья в гости завалил, но... равновесье потерял, сознание, облик человеческий, порыв угас и он не смог с портвейном теплым разлучиться. Утром же поднялся, шатаясь от омерзения, добрел до кафеля холодного, глаза не открывая, взбодрился в судорогах жалких, башку под душем остудил, и смылся, сбежал, ушел, как проклял, не прощаясь.
Ну, вот так бы и расстаться приятелям, без слов, без объяснений лишних, благородно, но, увы, дурная логика

похмелья, отходняка и раскумара на дрожжах
вчерашних

свела еще раз, теперь уже на зебре солнечной
весенней

пустого коридора, Толю с Леной.

Под своды храма знаний (технических,
универсальных) Зух прибыл минут на двадцать
раньше

Кузнецова, до этого он совершить успел намаз?
навруз?

куйрам-байрам? то есть две стопки опрокинул
азербайджанского напитка с названием "Коньяк" и
следом тут

же засосал "Агдама" полстакана в немойтой
рюмочной на

улице Ноградская (в кредит у бармена, приятеля
дворового), и

сразу освеженный, он вспомнил, ну, конечно, что
струны

новые оставил в камерке у магнитофона со снятой
верхней

крышкой.

— Куда? — с улыбкой милой в дверях встретил
Громов,

эта сволочь, ублюдок, когда-то, год назад всего
лишь готовый

им таскать колонки, стойки, провода, лишь бы на
репетиции,

для шутки как бы, просто так, ну, хоть на румбе, на
бубне или

маракасе подыграть.

Сейчас эта разожравшаяся падла стояла на пороге и
щурясь лаского, не собирался пускать, подумать
только,

Леню, Зуха, великого и несравненного.

— Ах, ты...

Нет, это тебе, браток, не вахтер, инвалид
невидимого
фронта. Хватала жирные сомкнулись, запястья
защемив
пребольно, Зух был под лестницу без церемоний
лишних
препровожден и там ему пришлось на ящике каком-
то
ломаном немного посидеть, покуда дыханье,
остановленное
коротким, но резким и надежным хуком в сплетенье
солнечное, восстановилось.
" Я полз, я ползу, я буду ползти,
Я неумомим, я без костей,
Я гибкий, я скользкий, но я устал,
Я устал быть ужом, я хочу стать гадюкой".
— Ну, что, пархатый, последнее продал?
— Ключ, — Толян был краток в этот миг ужасный.
— На, — предложил ему козел, скотина датая,
подпрыгнуть, от пола оторваться на аршин, с
разбега
выхватить из поднятой над головой руки железку со
скрепкой
канцелярской вместо бирки полустертой.
— Подонок.
— Ах, — улыбка пакостная слюной белой
размазалась
по роже, разжались пальцы и с высоты двух метров
ухнув,
невероятно, предмет блестящий, не звякнув даже,
ушел в
сантиметровое отверстие пол украшавшей щели.
Прости-прощай! Привет!
Ан нет, и трех минут не прошло, еще тряслись от
бешенства коленки, играла жилка в пузе Кузнецова,
как

распахнулась настезь дверь каморки, мелькнула
тень поэта
гнусного.

— Сюда, прошу вас... осторожней, — до Толиных
ушей

донесся ненавистный голос и... в помещение,
заваленное

всевозможной рухлядью и дрянью, зашла, вкалила,
Боже

правый, Валера Додд.

— Уф, мальчики, едва вас отыскала.

СИМА

Короче говоря, жизнь неслась, летела, колбасила,
не

желала, не хотела оглядываться, останавливаться,
перекуривать это дело, обмывать и обмозговывать.

По

местности пересеченной, преграды преодолевая
водные,

шагала с песней, топала, катила, героям нашим не
давала

дыхание перевести.

Хотя нет, одного, непостижимым образом каким-то
оставила в покое. Впрочем, возможно, попросту на
сладкое,

под кофеек, посмаковать за чашечкой полуденной.

Да, господа, покуда с ног на голову мир становился,

в

тартарары валился, к черту, под откос, один
зеленоглазый

юноша, бездельник, шалопай, отъявленный
мерзавец Сима,

Швец-Царев Дмитрий Васильевич, в постели
нежился, на

голубом белье лежал, похрустывал крахмалом
освежающим, в

тепле гигиеничном розовел, добрел, ну, в общем,
жизненными

наливался соками.

В желудке молодца рассасывались, бодря и
согревая

носоглотку отрыжкой луковой, пельмешки. Много
пельмешек,

маленьких, ладненьких, кругленьких, уплел, умял,
захавал

Сима, беспутной ночью нагулял изрядный аппетит,
проголодался сукин сын, съел целый противень
один, заставил

полчаса над жаркою конфоркой раскаленной пот
смахивать со

лба Любашу, домработницу папаши своего Василия
Романовича Швец-Царева. Однако спасибо, как уж
водится,

забыл:

— Дай молока, — изрек, нажравшись, — в моей
зеленой

кружке. Уф.

— Иди поспи, — сказала тихо и невесело Любовь
Андреевна борцу с зевотой, спрошенное подавая.

— Угу.

Ах, нет, не зря он этой беспокойной ночью
приснился

ей, сыночек непутевый младший хозяев, весь в
черном с

бритой головой. Нет, не случайно, не просто так.

— Че, Митька дома? — каких-то полчаса, минут
сорок

прошло с тех пор, как повалился горемычный,
улегся на

кровать, привычно пол и стулья исподним мятым и
платья

верхнего предметами украсив.

— Дома, нет? — допытывался старший брат, Вадим, каким-то удивительно поганым голосом, похоже, щурясь,

ухмыляясь и знаки делая кому-то рукой свободной там где-то

вдалеке, на том конце петляющего под землей телефонного провода.

— Да спит он, Вадик.

— Буди, Люба, поднимай, — был агрессивен более обычного, предельно хамоват и беспардонен Вадим Васильевич Швец-Царев.

Ха!

Что ж, отвернулся от девки паскудной, криворотой по

имени Жизнь-Железка, Сима, забил, положил, облокотился,

отъехал на фиг, отбыл, не беспокоить, но игривая, то

перышком по трепетной ноздре проведет, то волосы ему

взьерошит дыханьем теплым и вдруг, как рявкнет дико:

— Будь здоров, спокойной ночи, — и трубку из холодного небьющегося пластика приложит к голове.

— Алло.

— Митька, — в ответ ушную наполняет раковину необычайно гадкий, гнусный тенорок родного брата.

— Митяй, — от смеха давится, вот-вот начнет сморкаться, кашлять, воздух портить, врач, доктор,

Вадик

Швец-Царев:

— Ну уж теперь-то, парень, старая карга тебя точно посадит.

Кто? Что? Почему?

— Малюта-дура сегодня утром на тебя телегу написала.

Да, да, увы, написала, накатала, слезой сивушною смочила, подписью скрепила. Получи, фашист, за все.

Что, думаете, накануне пьяная была, бухая, и суете паскудной Симкиной значения не придала, волненья подлого

не поняла причину, в суть не проникла?

Ах, вот что, Лерку-сучку, значит, потерял, недосчитался, тварь, скотина.

Обиды сердце не снесло (нежное, девичье), зашлось,

затрепетало, право, и стала, бедная, замочком разводить ткань

толстую и грубую, индиго цвета, известный шарм и даже

привлекательность конечностям Юрца, подонка Иванова,

придававшую. Развела, освободила нечто, в ее руках

волшебным образом начавшее менять размер и цвет, да,

осмотрела, оценила, и всхлипнув горько, безутешно, в

помадой фиолетовой измазанные губы приняла.

Ну-ну.

Второй, сим действием потрясенный, Иванов, конечно же, сейчас же, тут же без посторонней помощи и с пуговкой

управился и с плаварями синими, бессмысленно, по долгу

службы лишь пытавшимися как-то неуклюже сдержать напор

всепобеждающей, вечнозеленой (хм? — определенно)

молодости буйной.

В общем, было, было на что посмотреть,
полюбоваться чем вчера к полуночи ближе на улице

Арочная

в доме с архитектурными излишествами, в квартире
управляющего Верхне-Китимским рудником

Афанасия

Петровича Малюты.

Впрочем, и поутру три служивых, сержант и пара
рядовых сил не имели отвести глаза от зрелища

поистине

невероятного, немыслимого, невозможного.

Подумать только,

ехали в патрульном сине-желтом воронке, светили

фарами

туда-сюда блюстителю порядка, сна, покоя мирного,
неторопливо толковали на ходу о том, о сем, точнее

об одном,

о вечном, и вдруг, стрелять-копать, товарищ

капитан, увидели,

уткнулись, из-за угла к "Орбите" вывернув,

равняйся-смирно

на плечо, предмет беседы, цветочек голубой, короче,
заповедное то место, из коего берутся дети.

Причем, как бы отдельно стоящее, вернее, висящее

на

перекладине, на жердочке, на спине скамейки
свежеокрашенной под мелкой майскою листвою. И в

самом

деле, в то время, как припухлость деликатнейшую,

пирожок с

частями мелкими впридачу, овевал беспечный

ветерок,

накрытые небрежно сорочкой сползшей голова и

руки на

неуютной, темной стороне скамейки белой
почивали, травы
ночной дышали ароматом.

— Эй, девка, бляха-муха, живая, нет?

Похоже, да. Стоять не может, правда, сама никак,
но

жмурится, от света желтого безжалостного фар
пытается

закрыться ладонью узкой, икает, вздрагивает, и,
наконец,

сумев качан тяжелый, непослушный поворотить к
тому, что

держит слева, несчастного отвратным смрадным
жаром

обдает:

— Найдите его, — слеза мгновенно набухает,
стекляшкой вспыхивает, зигзаг блестящий
оставляет на щеке:

— Найдите гада, мальчики.

Определенно невменяема. Но то, что очевидно было
парочке ублюдков, Павлухе и Юрцу, которые лишь
мерзко

оскалились, да переглядывались гнусно, когда
Малюта,

переходя из рук одних в другие, меж делом вдруг
начинала

выть, скулить и хлюпать носом:

— Где Сима? Сима где? — отнюдь не показалось
таковым суровым людям в серых кителях, в
фуражках с

красными околышами праздничными. Улыбочки,
усмешечки с

обветренных и пропыленных лиц пусть не сбежали,
но (чего,

конечно, можно было ожидать вполне) и не
расплылись,

стальными фиксами не заиграли, не брызнули
слюной горячей

во все стороны. Господь всемилостив, внезапно
стали

постными, кривыми, глуповатыми, фигня какая,
накинули на

плечи телке шинель, пропахшую бензином (б/у без
пуговиц) и

в часть дежурную свезли.

Где с первыми лучами раннего рассвета она не
протрезвела, не сгорела от стыда, не умерла, нет,
просто

спятила, сошла с ума, мозгов лишилась
окончательно, то есть

на все вопросы наводящие, паскудные и подлые
наредкость

старлея кадыкастого, с готовностью, охотно,
отвечала

коротким, мстительным кивком:

— Да, да, он самый, Дмитрий Швец-Царев.

Кто от любви до ненависти путь шагами мерил, тот
утверждает, раз, и там. Возможно. Однако, наши
зайчики

почти три года по дороге разочарований тащились,
бедные,

влачили без надежды когда-нибудь прийти из
пункта А в

пункт Б.

А ведь могли бы быть избавлены от испытания сего,
в

покое и в неведении о сути непотребной себе
подобных

пребывать, когда бы не желание (с абстрактной
точки зрения

похвальное, конечно) Полины Иннокентьевны
Малюты своей

дочурке, дуре Ирке, хорошее образование дать. И
впрямь, ну,
чему могли научить дочь управляющего рудником
Ирину
Афанасьевну Малюту полуграмотные (если
оставались, с
Топок) учителя из вверенного волею судьбы Полине
Иннокентьевне педколлектива Верхне-Китимской
средней
школы?
Ах, надо быть врагом ребенку своему.
Итак, благодаря заботе и предусмотрительности
своей
наредкость дальновидной матери, Малюта Ира семи
лет
отроду покинула поселок рудокопов, в котором за
кольцами
запреток с высокими, похожими на марсиан Уэллса
вышками,
ее отец был господином абсолютным для пары
тысяч душ, и
уехала, с пожитками перебралась в большой и
светлый
областной центр, в мир, где уже другие папки
делами
завлаживали. Да.
Но, правда, поселилась не в той похабной (с
прекрасным видом на излучину Томи) квартире,
куда вчера
компания веселая из "Льдины" прикатила, в другой,
в обители
семейной тети Оли, родной сестры Полины
Иннокентьевны, с
кузиной Катькой разделила комнату, а с Лерой Додд
и двор, и
парту.

Заметить надо, Ольга Иннокентьевна, доцент,
преподаватель кафедры обогащения полезных
ископаемых

Южносибирского горного, сестры решение трудное
и

одобряла, и поддерживала. А почему? А потому,
вообразите,

что не могла забыть, как в юности студенческой
услышала

короткие щелчки сухие, когда случилось ей к куску
невзрачному породы обрубок трубки на длинной
рукоятке

поднести.

Вот так, из лучших побуждений, от чистого сердца.

И что же девочка? Росла, не отличаясь прилежанием
особым, аккуратностью, отнюдь нет, не блистала,
зато в

подвижные играла игры и неизменно культурно-
массовым

заведовала сектором. Носила фартук с кружевами,
глаза

скосив, курносый изучала свой в кружочке
оловянном зеркала

карманного, а вечерами, не очень часто, но бывало,
гуляла с

Лерой Додд по освещенному Советскому проспекту.
Смешили

kozy тех, кому за тридцать, губами одинаковыми.

А тех, кому нет восемнадцати, бросали в жар,
лишали

аппетита, сна, течение мерное потоков в сосудах
юных

нарушали, и вследствие сего у особей иных (в угоду
чреслам

неуемным) катастрофическое ухудшение
кровообращения

мозга головного порою наблюдалось.

Конечно, чем еще, как ни рассудка временной
потерей

возможно объяснить, ну, скажем, Димы Швеца
Царева

поведение. Зашел однажды десятиклассник с
зелеными, как

камешки для крупных и безвкусных сережек
золотых, глазами,

в кафе-мороженое "Льдинка", поднялся, в кармане
куртки

внутреннем бутылку ноль-пять литра грея, на
второй этаж,

ленивым взором публику окинул, что смешивала
джем с

мороженым, и в бар на третий идти внезапно
расхотел.

— Привет, — сказал девицам незнакомым, у столика
остановившись, улыбкой замечательной очаровав, —

У вас не

занято?

— Да нет, — ответом было глазенок быстрых раз-два
три, лоб незнакомца-нос-и-зайчик-желтый от
замысловатого

прибора осветительного на липкой полированной
столешнице.

Собственно, с этого дня и начинается любовь.
Отсчет

ведется поступков идиотских, безумных выходок и
эскапад

невероятных, короче, сплетен, домыслов, досужих
разговоров,

легенд и мифов.

Малюта с Симой, пара живописная, определенно
друг

для друга были созданы. Природа обделила в равной степени

обоих тормозами, стоп-кранами, ремнями безопасности, зато

снабдила беззаботно лыжами, колесами, сиреной, плюс

пропеллер, конечно же, на реактивной тяге. А приходящее

благодаря лишь воспитанию, среде и положению сознание

того, что ты при всем при этом еще и не обязан дороги

разбирать, оторванной от дома барского Малюте красавчик

Сима просто возвратил.

Волшебник, одним движеньем э... инструмента,

скажем так, скорей слесарного, чем музыкального,

не

слишком видного, зато неугомонного и до смешного, право

же, анекдотически неутомимого.

Иначе говоря, в тот вечер, побрезговав мороженым,

зато беседу ни о чем без видных усилий, легко и просто,

умудрившись растянуть на добрых полтора часа, известный

троечник из школы номер двадцать шесть отправился, шурша

листвой сентябрьской, двух девятиклассниц из третьей

проводить до дому.

— А про то, как Василию Ивановичу недосуг было, знаете?

Не знали и смеялись дружно.

Итак, едва лишь Лера, жившая на сорок метров ближе

к Советскому проспекту, исчезла в проеме низком
своего

подъезда, как пламенный герой ее подруге Ирке
предложил

зайти в соседний и емкость застоявшуюся,
несомненно, в

кармане куртки синей финской, без лишних
церемоний

осушить.

Пяток глотков "Кавказа", доселе ей неведомого,
такое

впечатление произвели на девочку из Верхнего
Китима, что

идиотка не только согласилась на подоконнике
облупленном

расположиться, но, мама-завуч, товарищ Инесса
Арманд — дух

святой животворящий, оплодотворяющий, не
возражала даже

слишком уж, когда ладошка наглая взволнованного
сверх

всякой меры вонючей жижею гаденыша (без слов,
только

сопел красивый нос у мочки уха дуры-краси) стала
сопровождать пупырышки беспутные, веселый

холодок все

безогляднее, все дальше вдоль нежных и
незагорелых изгибов

Иркиного стана.

Он и к себе успел впустить сквозь зубчики замочка
молния немного сквознячка, но... тут внезапно
распахнулась

на площадке шумно дверь, и наши горемычные
любовники,

теряя туалета части важные, ломая каблуки и
оправляясь на

ходу, посыпались по лестнице на улицу.

Не вышло.

Еще четыре потребовалось подхода, две поллитровки

портвейна, шампанского огнетушитель и двести граммов

коньяка, прежде чем наконец-то беднягам удалось сыграть, не

прикасаясь, впрочем, к клавишам, у фортепиано, в доме

отдыха "Шахтер Кузбасса", в паушем сцены закутке собачий

вальс.

Отметили победой трудовой ноябрьскую годовщину Великой пролетарской революции. Не подкачали, отрапортовали.

Есть!

Короче, было, было чем делиться Ирке, о чем рассказывать в кругу интимном, глаза закатывая, чмокая

губами, плечами поводя и щелкая задорно пальцами.

Вот так.

Она вообще, заметить надо, слыла треплом.

Неисправимым, несусветным. И, кстати, он, язык, не знающий

покоя, Иркин, ее на год, наверное, не меньше, развел с

Валерой Додд, после изгнания дочери таксидермиста и

скорняка из школы высокоморальной третьей.

Противна стала балаболка Лере, неприятна, и все тут,

после того, как чуть ли не сейчас же по возвращении из

ссылки деревенской на дне рождения свиньи
безмозглой под
бульканье напитков разноцветных вдруг
выяснилось, что это
не кто-нибудь, а именно она, Малюта, не удержала
своего
малыша за мелкими зубами и рассказала, Боже мой,
кому?
дочурке Старопанского, жидковолосой Светке,
поведала на
ушко, чем занимается отличник из десятого с
баскетболисткой
из девятого на черных матах в зале темном. Та
доложила
матери, которая, естественно, за долг гражданский
посчитала
необходимостью нарушить клятву, обещанье не
сдержать,
вначале было данное. Рагневался, ножищами
застучал
Старопанский Егор Георгиевич — директор школы
образцовой,
но в интересах дела общего себя взял в руки, на
цыпочках, как
шиш, как тать по коридору узкому прошел, и к
щелочке
дверной припал.
Ага!
Тихушники, темнилы, молчуны и надо же, попались.
А вот Симу с Ирккой никто ни разу так и не застучал.
Еще бы,
поди попробуй ухватить, поймать летящий с горки к
черту, в
огне, в дыму, гудящий и свистящий паровоз, карету
скорой

помощи, пожарную машину, воронок. Во всяком случае едва

ли до того момента, как год назад в июне ключ Ирка получила

(дабы готовиться к экзаменам грядущим без помех) от той

родительской малины на Арочной, в одном и том же месте

безумной парочке случалось подряд два раза охать, чмокать и

кусаться.

Ну, а в июле пузырем столичной белой, который Сима

выставил на пластик красный столика кухонного (ах, мама, где

ты, мамочка, метавшая на ту же скользкую поверхность

ежесубботне все без разбора, и бутерброды с черною

зернистой, и пирожочки с печеньем домашние) закончилась у

Димы Швец-Царева и у Малюты Иры жизнь кочевая, началась

оседлая. То есть все настоящее пришло к родимым, и

блевотина, и похмелье, и триппер, Симой привезенный из

Северной Пальмиры, и выкидыш восьминедельный, подаренный ему Малютой на Новый год.

То есть красиво жили, без оглядки, студент истфака университета и первокурсница мединститута. На зависть всем

и кутерьме веселой, казалось, вечной, конца не будет никогда,

однако нечто нехорошее, определенно, приключилось зимою

этой.
Иначе говоря, народ глазастый, любознательный,
сметливый, чу, начал замечать — все чаще,
регулярней в
одиночку или в компании Валерки хитрой Додд
Малюта Ира,
буркала залив, заправив баки, нализавшись, косая
скандалистка, дура, красиво пишет кренделя лихие
по этажам,
по лестницам развратной "Льдины", а Сима же
предпочитает
свой "Жигуленок" белый парковать под тополями
набережной,
с мордатými дружками новыми ему приятней зубы
скалить,
толковать, заплевывать болгарскими бычками
высокое
крылечко ресторана "Томь".
Что ж, в самом деле, нам памятная встреча, которая
закончилась бумажкой, разлинованной
похмельными
каракулями потерпевшей, была первой приятной
неожиданностью с момента расставанья
драматического
мартовского.
Да, господа, девятого числа, еще мимозы не увяли,
"Лаванда горная" не выдохнулась в квартирах
рыцарей
гусаров, вообразите, утром, когда еще теплые и
духовитые от
брудершафтов множества граждане страны
огромной на
кухнях сумрачных глушили чай простой целебный,
подонок
Сима лишь чудом подругу зренья не лишил, заехав
вместо

глаза падле в ухо, после чего покинул ее
гостеприимные

хоромы, тяжелой дверью так пугнув известку на
площадке,

что бедная рассыпалась по лестнице, по всей
площадке

разметалась смешными звездочками жалкими.

А началось все, Боже мой, в феврале с того, что

Швец-Цареву просто глупой шуткой, причудой
идиотки

пьяной показалось. Ну, да, а чем еще прикажете
считать

внезапно выраженное Малютой недоделанной
желание

пройтись однажды под белую фатой рука об руку с
одетым в

тройку черную, неотразимым Симой по солнечной
аллее

липовой героев, дабы у Вечного огня, шурша
парчой, шелками

подвенечными, на гладкую плиту букетик гвоздик
азербайджанских положить?

— Ты че, совсем плохая, ты думай головой, мы же
двух

дней с тобой не проживем.

— Ну и что, зато у всех отвиснет и опустится, когда
мы

лихо по Весенней на "Чайке" с бубенцами
проплывем.

Пинцет, короче, дальше некуда.

И тем не менее, идея не в пример иным прожекам
ума лишенной Ирки на завтра не оставила
несчастную. Увы,

уж слишком сильное на слабые коровы чувства
впечатление

произвела женитьба двоюродного брата Симы
Андрея
Ковалева, сыночка генеральского, и Ленки
Костюшевич,
дочурки главврача больницы областной. По
папкиным чинам
и бабкам, решила наша слабоумная, им с Симой уж
нечто
просто грандиозное положено.
Свихнулась, в общем, ни о чем другом не могла ни
говорить, ни думать. И, главное, если бы лишь
одного только
Симу испытывала на прочность, так нет же,
помелом мела на
всех углах, стучала боталом, несла, трепала, и дело
стало
представляться многим едва ли не уже решенным.
Ну, ладно, дружков, подружек зубоскальство,
намеки
тухлые, смешочки Сима, возможно, смог бы
пережить, но,
черт возьми, параша гнусная, переходя из уст в
уста, волну,
водичку стала гнать, и общая их лужа полудетская
внезапно
вышла из камышовых бережков. Иначе говоря,
седьмого
марта мать Симы, Лидия Васильевна, работавшая,
как назло, в
одной системе просвещения народного, что и
родительница
Ирки, сыночка привычным чмок-чмок-чмок в висок за
розы
поблагодарив, спросила:
— А почему так получается, Димочка, что мы с папой
о

чем-то важном, происходящем в твоей жизни,
узнаем
последними и от чужих людей?
М-да, удивительно ли, что после беседы семейной,
за
сим последовавшей восьмого, Сима надрался мерзко
в
компании чужой, а утром с бодуна великого зашел к
под
ожидание напрасное приговорившей три четочка
лапе и, сняв
синдром четвертой, отвесил ей, обмен эпитетами
веско
завершив, отменный, но неточный справа.
Ну, все. Расстались навсегда.
Казалось бы, но вот вчера, в кафе, он так
(определенно, нет сомнений) заревновал,
заволновался. Почти
киску снял свою с коленей Иванова старшего,
стащил
комплектность частей знакомых, боеготовность
излюбленных
стал проверять, клешнею шарить там и сям, поить
винцом,
звать "мордой" и "говехой", — короче, был готов
припасть,
вернуться в лоно, но то ли недожала Ирка
(слюнявым
кончиком шершавым недогуляла по уха Симиного
загогулинам), то ли переборщила (напрасно в холле
висла на
Юрце, своими липкими в его развязные, мокрые все
норовя
попасть), ошибку, в общем, сделала, досадно
просчиталась,

фу, и в результате всецело, душой и телом не смогла

любимому отдаться, ибо, увы, была дружкойми Швеца-Царева

по-справедливости, по-братски на двоих раскидана сначала в

помещении, а после на свежем воздухе весеннем.

Как будто бы конец. Прости-прощай.

Но случай (право же, счастливый) шанс новый

подарил внезапно. Да, да, конечно, доставленная утром по

месту жительства все в той же шинели, службой траченной

мусарской, Ирка была уверена, могла поклясться, что поведет

ее мерзавец под венец, и очень скоро.

Просто деваться ему теперь некуда.

Ха-ха.

— Ну, уж теперь-то, парень, старая карга тебя точно посадит.

Ах, как смеялся, цыкал, хрюкал Вадик с очередным успехом братца Митьку поздравляя безголового.

Хорошо ему, ловко устроился, летает самолетами

Аэрофлота девять месяцев в году, во Львове наберется, над

Волгой пролетая, отольет, в Тюмени примет, а в

Комсомольске-на-Амуре все аккуратно, до копейки выложит

во что-нибудь фаянсовое, белое, вернет, и снова в форме, в

ажуре, на фиг, давай, давай, по новой разливай. Лафа, ни глаза

за ним, ни указа ему, ни хвостов у него, ни долгов, эх, кто бы

Симку сделал врачом футбольной команды первой лиги.

Да хоть бы и второй.
Елы-палы, а ведь мог бы, мог бы и не врачом,
лепилой, костоломом-костоправом, сбоку-припеком,
бесплатным приложением быть. С великим Разуваем
рядом на
острие атаки, в штрафной площадке у ворот гостей,
на жухлой
травке стадиона "Химик", вполне, а что? он мог бы,
Дима
Швец-Царев, с мячом красивым мастериться.
— Делай, Сима!
— Швец, мочи!
И неизвестно, кто бы тогда кому отстегивал
широким
жестом тачки битые за полцены.
— На, Митяй, катайся, Разуваев себе шестерку
новенькую отсосал, — Вадька ему, или он Вадьке.
Но не вышло. Старуха, крыса, большевичка, все за
него решила.
— Василий, — Сима помнит, как за столом
воскресным
она шары свои лупила, отцу с приятностью мешая
рюмашку
водки опрокинуть, — нельзя сдавать рубежей, кто-
то должен
продолжать линию, идти по стопам.
— И вообще, — чертила ложечкой на скатерти
звезду ли
пятиконечную, серп ли с молотом (в морщинах вся,
как
деревянный истукан с потрескавшимся рылом), —
сомнительное
достижение позволить каким-то там газетчикам
трепать без
толку наше имя.
Это она о статье, заметке в "Сибирском

комсомольце", какой-то фуфел Симу после
российского

турнира надеждой спорта и футбола вдруг вздумал
объявить.

Конечно, сыграли они отлично, ничего не скажешь,
первое

место в подгруппе, второе в финале. Нормально.

Да только что с того? Когда, как дупель ухмыляясь,
явился Сима и огорошил Семеныча, отца родного:

— Все, ухожу, отбегал, — тот не сказал ему ни
слова.

Понял мужик, что не его ума это дело.

— Ну, заходи, не забывай, — пожал плечами и
пацанов

пошел гонять.

Проклятая бабка.

Тогда она еще в бюро сидела, старейшим членом
была, культурой-мультиурой помыкала, старуха в
буденовке,

сама себе и конь, и шашка.

Что ж, в самом деле, бабушкой оболтусу и негодяю

Симе Швец-Цареву приходилась не какая-нибудь
там контра,

двурушница, низкопоклонница, перерожденка, нет,
нет,

пламенная, негибаемая, твердая, как сталь,
которую кует,

кует, и все не может на орало перековать железный
пролетарий, революционерка.

А внук, мерзавец, ее подвел. Всю семью опозорил.

Дядя московский, Антон Романович Швец-Царев —
инструктор

общего отдела из дома, громадой серой сползшего с
Ильинки

на Варварку, хоть и курирует Алтайский край,
Бурятскую

АССР и область Новосибирскую, но кто его не знает,
не
уважает сыночка старшего Елизаветы Васильевны,
дядя по
тете Свете — Вилен, Вилен Андреевич Ковалев,
генерал с
адмиральскими звездами на голубых игрушечных
погончиках,
и на трибуне, и на телеэкране всегда на своем
месте — не
хочешь, а увидишь, ну, и отец Василий, тоже
фигура, Василий
Романович, секретарь крупнейшей в области
организации
передового пролетариата, крестьянства трудового и
интеллигенции народной.
Люди, в общем.
А он, Сима, шестнадцатилетний недоумок, взял и
пропил комсомольские взносы.
Да, года три тому назад впервые потребовала
Елизавета Васильевна отправить подлеца на
исправление в
одно из подчиненных зятю учреждений. Ах, какие
бабуля на
него, красавца зеленоглазого, надежды возлагала
после того,
как бросил Сима свой мяч дурацкий гонять с утра до
вечера. И
товарищи ему в школе доверие оказали, и райком в
резерв
охотно записал, а Дмитрий, Василия сын, Антона
племянник.
... Невероятно.
И тем не менее.
Ээээ! Широта душевная подвела, наклонности
ухарские, характер компанейский.

— Мужики! — морозным утром объявил второй день
безнадежно на мели сидевшим собутыльникам.

— Ништяк! Вечерним парходом ожидайте! —
сказал и

укатил на рейсовом, исчез в разрыве белом, прорехе
между

раскинувшими мохнатые, игольчатые лапы
стволами леса
строевого.

Уехал в десять, а в четыре вернулся в вихре
снежном,

лихо, гаденыш, скот, на тачке, на такси.

У-у-у-ух! Водяры ящик. Мать чесна!

Пустил по ветру, сучий потрох, копейку
идеологическую отряда юных ленинцев
полутаротысячного,

двухмесячную дань со школы номер двадцать
шесть, фьюить,

не в комитет вышестоящий снес, а в "папин мир".

Короче, до конца каникул недельных обеспечил
компанию своей беспутной, непрерывность
гарантировал

кругооборота жратвы в природе, возвратно-
поступательное

движение салатов зимних, винегретов, каш, щей и
зраз — всего

того, чем потчует обыкновенно хлебосольный
"Шахтер

Южбасса", угощает на отдых съехавшихся к елке
школьников
и школьниц.

Да, провинился, оступился. Но скандал-то зачем
было

устраивать? Весь мир оповещать? Закланья
требовать,

колесования, лишенья семенных желез? Зачем?
Деньги-то все
равно вернул.

— Молчи, болван, — отец был краток.
Как он уговорил, уломал старую гримзу, одному
только Богу известно. Но обошлось. Лишили тихо-
мирно

Симу права носить значок с головой золотой, а через
полгода

также незаметно, без шума лишнего и помпы
малиновый
вернули.

Не дали ходу, спустили, в общем, на тормозах,
замяли.

И просчитались, напрасно ведьму не послушались,
не

вняли. Особенно хорош, признаться надо, дядя Виля
оказался,

как он веселился, какие пузыри пускал тем летом,
мент, на
даче.

— Купец, — орал, сверкая самоварными резцами,
идешь купаться, нет?

М-да.

Хотелось бы, конечно, полюбоваться на грубую,
бугристую, всю в пятнах, точках, как перезревший
корнеплод,

физиономию Вилена Андреевича вот этой уже
осенью (одним

глазком хотя бы), когда в могильном сумраке
мерцающих

унылым лаком стенных панелей кабинета его
негромким

голосом, но внятно и отчетливо проинформировали.
Все трое

из задержанных по делу об ограблении квартиры
вожака

областного комсомола, зятя Степана Кондакова,
Игоря

Цуркана указывают дружно на Швец-Царева
Дмитрия

Васильевича, охотно на себя неблагодарный труд
продажи

краденого взявшего.

Еще бы.

Хм. Но удовольствие метаморфозу наблюдать,
внезапность превращения свиних моргал в собачьи
буркалы

имел, увы, один-единственный на белом свете
человек,

старший следователь управления внутренних дел,
майор

Виталий Россомахин.

— Так ты знал, что ворованное или не знал? —
вопрос

тяжелый выкатывался, ухал из дядькиной утробы и
накрывал

волной горячей, липкой башку поникшую
племянника.

— Я спрашиваю?

Сима, Сима, имел свое дело, репутацию, какую
никакую клиентуру, раз в месяц летал с ветерком, с
веселой

песней в Новосиб, брал партию синек, сдавал, не
слишком уж

заламывая, оптом все в Южке, и горя не знал.

Зачем ты, бедолага, связался с этой аппаратурой
"два

магнитофона японских двухкассетных "Шарп" и
радиола

"Грюндиг", ФРГ", как в заявлении именовал
утраченное

гражданин Цуркан, что ты наварить на всем на этом
собирался, зачем обещал в Н-ск свезти и сдать
надежным
людям?

Эх, если бы вот так, не лая ему в темечко, а под
рюмочку, стаканчик, да с шуточкой, да с
прибауточкой, по

свойски, признался бы, наверно, Сима дядьке,
рассказал бы, а

может быть, и показал бы, но нет, по-родственному
в этот раз

не получалось и идиот несчастный лишь бормотал
угрюмо:

— Не знал, не ведал, обманули...

В тот же вечер он, словно Тимур, герой и
бессребренник, юный друг милиции, с кривой
улыбкой

перекошенным хлебалом, кнопку звонка у
свежеокрашенного

косяка нажал и внес в прихожую огромную
картонную

коробку из-под сигарет без фильтра "Прима".

— Вот, — сказал, глазами чистыми сияя, —
взгляните. Тут

предлагают купить. Не ваше ли часом?

Не помогло.

— Под суд! В тюрьму! — сурово требовала
хранительница великих традиций, заветов
нерушимых,

зверюга-бабка, председатель областного комитета
ветеранов

войны и труда.

— В колонию особого режима.

Уже и следствие закончилось, и имя Симкино ни в

каких показаниях, ни в материалах не значилось, не
фигурировало, а комиссарша все лютовала, махала
саблей и

орошала пузырящейся слюной неплодородные
пространства

квартиры сына младшего Василия.

— Никакой ему пощады. Гниль вырвать с корнем.

Заразу растоптать в зародыше.

И опять, и вновь отец его, дубину, спас, вытащил,
короче, в армию отдал, пристроил в спортроту МВД.

— Ничего, — за ужином немного принял, подобрел,
хорошая строка в биографии не помешает.

Угу.

Да, видно, без толку. Судьба, похоже, у Симы
веселая

девчонка, подстилка с варенниками-губами,
грянула в

короткой юбочке, в чулочках-сеточках, никакого с
ней сладу,

никакой на нее управы.

Пальчиками мягонькими, теплыми закрыла ему веки

и

дышит в шею.

— Люся? — угадывает дурачок, — Милка? Ты,
Катька,

что ли?

Фиг-то там! Братан Вадим.

Га-га-га! С известием приятным.

А, впрочем, что за ерунда, какие глупости, собачья
чушь. У него же, у Симы, алиби есть, ну, да, конечно,

и

свидетели.

Итак, все. Табличка с неблагоприятно съеденным
углом

"Аттракцион закрыт на обед" исчезает, убирается,
фигура хоть

ущербная, но геометрическая, правильная,
отваливает,
пропадает, куда-то вниз уносится с прощальным
кувырком (
на полку? на пол?) хлоп, и месяц, ясно-солнышко,
Житухи
щербатое мурло всплывает, светится, лоснится,
щурится за
стеклышками будочки служебной. Вздрагивает
железный
остов карусели, бодаются вагончики веселых горок,
качели
звяканьем задорным откликаются. Ток дан, поехали,
ура!
— Люба, — орет в прихожей Сима, под вешалкой
ногою
шаря, рожа со сна еще измятая, одна рука в рукаве,
другая
тычется в подкладку куртки, бьется комсомолка, то
в карман
попадает, то в дыру под ним, — где мои ботинки,
Люба, черт
возьми?
Ох, не зря, не напрасно он ей сегодня привиделся,
голубчик, под утро явился черный, весь в щетине,
надо лбом
густая жесткая, на подбородке редкая колючая, а
на щеках,
так, пушок детский, и страшно, и жалко.
— На, — выносит из ванной еще блестящие от влаги.
Хрясь, разодрал-таки чухонский шелк по шву до
пояса.
— Митя! Неужто так пойдешь? Давай зашью.
Какой там. Вылетел, выскочил, унесся, и вдруг...
звонок. Господи, спаси и сохрани, все к одному,
какой знак-то

нехороший. Вернулся.

Ключ выронил, потерял, от жестянки своей, в папашин тапок фетровый прямиком угодил.

— Да вот же он.

Даже в зеркало не глянул, не посмотрел. Захлопнул дверь и был таков. Ну, жди беды. Ой-ой-ой.

Спакуха! Все будет тити-мити.

Неисправим, неисправим. Положительно, определено.

Итак, вырывает, урчит мотор, газует Сима, ну, если

только от двери до двери, от сиденья до кровати пяток,

десяток километров на своих двоих проделавший за год

потомок никудышный рода славного. Едет, а ехать-то, проще

плюнуть, сморкнуться, дольше ждать, пока с неглавной

Ноградской на основную 50 лет Октября автобусы-гармошки

выпустят.

Но прибыл. Свистнул снизу, балконная, горячий солнца шар ему в лицо катнув, уходит внутрь дома дверь, и в

майке, полуголый, в проеме кирпичном возникает живой

здоровый Юрка Иванов.

— А, Симка, ну, поднимайся, че стоишь.

Друзья, корешки, сидят как люди напитком из солода,

из ячменя отборного желудочно-кишечный услаждают тракт,

закусывая рыбкой — вся "Правда" в чешуе.

— Садись. Хлебни малеха. В картишки перекинемся.

— Какие картишки, лыжи-кран. Тут такая папа-мама.

— Ну, ну, — качают головами братья, у одного в руках

подлещик, полбока съедено, а у другого — замученный на

солнышке рек обитатель пресноводных — башки уж нет.

— Заявление, говоришь, написала, двустволка, сука.

— На тебя катит, шалава, тварь.

— А я же... я же там... да вы-то знаете, блин, мужики... я

там и близко не был.

Сухие сыплются ошметки на мятую газету, в стаканах

оседает, на гранях пытаюсь удержаться, пена.

— Чего уставились, — противная, набухнув вмиг, соскальзывает капля крупная, располовинивая Симу струйкой

от шейного до тазового позвонка.

— А?

Кадык Павлухи отсчитывает бульки.

— Да мы-то что, — из пасти вынимает кусочек нежный

позвоночного усопшего Юрец, — а мы, хрен его знает, был ты

там, Сима, или нет.

— Мы-то сами, — второй кивает, — вчера с утра до вечера

у бати горбатели на даче.

Ух.

И от пивного освободившись кома, так смачно, громко перед репой Симы губами делает:

— Пык-пык.

Козлы! Вонючки! Это их Сима кормил, поил, товар им самый лучший отдавал, считай задаром.

Паскуды!
Но, нет, не обагрилось кровью поле брани. Увечий,
телесных повреждений, влекущих стойкую утрату
трудоспособности Создатель не допустил,
героической 110-й
не дал разбавить позорную 117-ю.
Да и Швец-Царев, всем известно, с расстояния в
полшага заехать точно пьяной бабе и той не может,
а братья
(вонючки, в самом деле) ему за спину длани заведя,
то есть
возможность полную имея красавца расписать по
полному
разряду, разумно (и в этом не откажешь сволочам)
не стали
оставлять на нем свидетельств дружеской беседы.
— Ну, че? В хайло или по рогу? — глумливо младший
прыгал перед ревушим, но бессильным из клейких
пальцев
упитанного Иванова-старшего запястья вырвать
Симой.
— Да между ног ему. Кирзач надень батянин, я
подержу, — не суетиться Юрчик предлагал, легко
справляясь с
тощим футболистом, лягнуть его в надкостницу
бессовестно
пытавшимся.
Но, повторяю, цел остался Сима, в конце концов
всего
лишь был пинком, ударом голой пятки грамотным за
дверь
отправлен, в подъезд, на волю.
— Я удавлю вас, говнюки, — как идиот ломился
Сима
обратно, назад, стучал ногами, кулаками в
нормальную, еще

плененными однажды европейцами соструганную и навешанную дверь.
— Перестреляю, как собак.
Ха, подумать можно.
Короче, вырвал с мясом, с древесной пылью на шурупах, звоночка кнопку, лишил контакта разъемы медные,
об пол шарахнул дрянь пластмассовую, о шашечки копеечного кафеля, заверил грязным полукругом каблука и
вниз по каменным ступенькам пролетов лестничных,
к
машине двинулся, плюясь и устилая путь общеславянскими
корнями, то есть словами, от сердца шедшими.
Хлопает дверца цвета "сафари", проснувшийся стартер похмельной дрожью оживляет безумный драндулет,
поехали.
Куда?
Точить ножи, затворы смазывать?
Ну, нет, мысль эту оставил Сима, точнее, она сама, под крики психа, уханье двери, прискорбный полимера писк
преобразилась, растеклась по дереву, перескочила от братьев к
Ирке, прошла от уха к уху колесом, рондат, фляк, сальто с
переворотом отменно выполнила, в воде зеленой угрюмого
"оно" на краткое мгновение скрылась и вынырнула со словом
"Сыр" в кривых зубах.
В общем, возможным счел повременить с братишками

Сима, поставил галочку, загнул по-свински ушком уголок,
закладку вставил и задвинул ящик. Решил сосредоточиться на
главном, историк неудавшийся, на Ирке, на Малюте,
а
частности, детали "разъяснить" потом, впоследствии.
Иначе говоря, внезапно новая открылась перспектива
Швец-Цареву, и одного знакомого он захотел немедля
повидать, не то чтобы близкого, но рюмочку случилось
пропускать за одним столом, однажды дело даже назревало
общее, какой-то общий намечался интерес, однако, сорвалось
(но, впрочем. ничьей в том не было вины, так обстоятельства
сложилась), короче, надумал Сима поговорить, потолковать,
покалякать с Олегом Сыроватко.
Скуластым малым, с которым в том году его Виталька
познакомил Коряков в "Томи", в бедламе вечной пьянки.
— Это Сыр, Сыр, — на ухо начал горячо шептать и к столику плечом, бедром, так незаметно стал поддталкивать,
туда, в уютный закуток, где в сполохах багровых пульсирующей басовой струны светился зуб.
А Сима, хотя к тому моменту практически всю норму свою вечернюю уже успел принять, заметил тем не менее,

едва лишь сел за скатерть белую, и шрама рваную
бороздку
под губой, и маленькую синюю корону, как солнце с
лучиками
детскими, в укромном месте на фаланге среднего с
той
стороны, что безымянным, рабом, шестеркой
бессловесной
прикрыта от взглядов посторонних обыкновенно.
— Проблемы будут — не стесняйся.
— Зарезать Ивановых можешь?
Ну, нет, нет, Господь с вами, это так, глупость,
мелькнула, конечно, в голове, в запале, в азарте
детском и в
нечто путаное, не вполне еще понятное, но дельное,
определенно, превратилось.
— Ээ... короче, баба... елы-палы... без лишней
только
суеты... того... но, чтоб наверняка... без нюансов...
не
посоветуешь?
Сыр! Вот кто Симе нужен. Он-то знает точно как и
чем ее прищучить, подкараулив завтра утром у
рощи по
дороге в анатомичку, а может и поможет сам, нет,
вряд ли,
скорее даст кого-то из своих лбов, не важно, факт
то, что
завтра она свою дурацкую бумажку пойдет и
заберет.
На мелкие, мельчайшие, все в тараканчиках
лишенных смысла букв порвет кусочки и пустит по
ветру под
хохот, гогот, хрюканье и кашель сиплый Симы.
— А теперь иди сюда!
Всего-то навсего.

Но, черт возьми, в полупустой, лишь соусом мучным
говяжьим пахнувшей "Томи" не оказалось Сыра.
Сима, винцом
болгарским балуясь, прождал его до пяти, после
чего смотался
в "Солнечный", там угостился "Айгешатом", но
взглядом по
залу, в котором кухни ароматы в час сей
соединялись с
синевой прогорклой табачных заводов, напрасно
шарил Швец
Царев, вернулся в "Томь", где железы танцующих
уже
работали вовсю, ингредиент последний добавляя
тонкой
струйкой в коктейль миазмов заведения привычный.
Не
появился.
Каждый день с завидной неизменностью сидел Сыр
там, в своем углу перед графинчиком с прозрачной
жидкостью, и в черных его хрусталиках ногами
кверху плавал,
толкался, с ума сходил, сгорал в мерцании полярном
безумный зал.
Но сегодня, именно сегодня, тот круглый столик
маленький табличка "не обслуживается" одна лишь
украшала.
"Южбасс"? Махнул туда. Последняя надежда.
И в холле, в дверях столкнулся с братом.
— Значит, не знаешь, как без шума ее заставить
забрать
телегу? — за ухо Симе струйку дыма мутного
пустив, с
ухмылкой скотской, Вадя рассказ балбеса заключил.
— А ты что, знаешь?
В ответ, все также гнусно скалясь, брат колечко

выпустил красивое, полюбовался нестойким
бубликом из

тухлой окиси "ВТ" и тихо, тихо произнес:

— Пять тысяч, Сима.

ВЕЧЕР

Итак, горели фонари, шары, наполненные
желтизной,

сходились где-то там, во мраке межпланетном
(должно быть,

над троллейбусным кольцом), парили, зигзагом,
вереницей

уходя вдоль бесконечного ночной порой Советского
проспекта в никуда. Под ними по серому с
наждачную искрой,

еще прохладному, весеннему асфальту под
взглядами

мооровских ударников и передовиков, бессменно
обреченных

бдить на стендах пять на три среди еще нетронутой
косилкой

зеленстроевской травы молоденькой газона
разделительного,

по правой стороне красивой улицы с домами желто-
красными

брели — угрюмый юноша и длинноногая девица. Оба
нетрезвые.

Опять. Впрочем, сегодня Валера Додд вполне, так
ей

самой, во всяком случае, казалось, владела,
управляла

организмом, расслабленным слегка лишь телом, по
крайней

мере, контролировала положение свое в
пространстве. И тел

иных стремительно несущихся на битых "Жигулях"
или же,

чем черт не шутит, на своих двоих, возможными
параболами,
кривыми, огибающими, траекториями
интересовалась. То
есть, известной бдительности не теряла,
посматривала,
ресницы вскидывала, поводила носиком, окрест
бросала
взгляды быстрые, и очень ловко (опыт!) как бы в
тени
держалась кавалера своего.
Что же касается Ленчика Зухны, а это он шел с
Лерой
параллельным курсом, то приближаясь к ее
обласканному
бризом встречном бедру на ширину ладони теплой,
то уходя
на метр, на два куда-то вправо (считать щербины?
выбоины
гранитного бордюра инспектировать?), маневры
девушки
чрезвычайно усложняя, бедняга трезвый-то с
эмоциями не
справлялся, сладить не умел, а тут такое, сразу,
после года
невезения тотального вообще, и с бабами, их род, в
частности,
да еще в день... в день, который, определенно, не
мягким
женским завершиться должен был, а острым,
грубым и
мужским — кастетом, финкой, АКеэМом.
Я знаю, ты мне не поверишь,
Я знаю, ты смеяться станешь,
Если я скажу, что кайфа
Большого уже не будет.

Да, она шла рядом. Это создание в высоких сапогах
и
джинсах голубых, ЭлЭй вумен, Ю гел, та, из-за
которой
только лишь последних пару месяцев, поклясться
можно, нет
нет, а приходил Зухны туда, на Кирова, как-будто в
гости, по
делу, мимоходом, к гнилому Кузнецу. Как медленно,
неторопливо он двор пересекал, входил в подъезд, у
ящика
"для писем и газет", у Лериной двери стоял,
старательно,
неторопливо сминая, укорачивая папиросы
трубочку, курил,
посматривая вниз с площадки между первым и
вторым, и
наконец зачем-то не ту, еще для маленького Толи на
уровне
плеча (груди, пожалуй) Зуха долговязого
прикрученную
кнопку нажимал.
Ни разу, ни разу, Боже мой, они не встретились,
нечаянно, так, как ему хотелось бы, в подъезде, где
только
паучок, готовясь к летнему сезону над бездною
качался
деловито, отчаянный верхолаз.
И вот сегодня, надо же, в постылом третьем корпусе
ЮГИ, в забытом всеми, кроме несчастных,
обреченных ради
пометки — "уд" в графе "работа курсовая" чертить
бредовые
узоры шариков и роликов каких-то тошнотворных
коробок

передач, в унылом коридоре, она к нему сама шагнула, как

невозможное виденье из солнечного конуса возникла,

приблизилась и, улыбаясь хорошо и просто, спросила:

— Не скажете где дискотека?

Ну, как же мир устроен идиотски. Из всего разнообразия людей на этом шаре, истоптанном и унавоженном, в огромном городе, вселившем недавно с

положенную помпой обитателя полумиллионного в квартиру с

видом на химкомбинат, девчонка чудная, курносенькая,

славная, увидеть пожелала не кого-нибудь, а своего соседа со

второго этажа, Толю Кузнецова, барана, прожившего,

прокуковавшего над ней пятнадцать лет, и на вопрос приятеля,

расплющившего пальцев длинных подушечки шершавые о

подоконник:

— Скажи, а как ее зовут, не знаешь? — сумевшего всего

лишь равнодушно пожать плечами.

"С чего ты взял, что я фигней подобной могу вообще интересоваться?"

Вот так, у него под носом непостижимым образом каким-то нечто, еще казалось бы недавно в салазки лайку

запрягавшее, вдруг превратилось в мечту волшебную,

сошедшую с обложки удивительной, еще нераспечатанной

пластинки, а Толя, идиот, и не заметил.

— Не скажете где дискоклуб?

— В обмен.

— На что?

— На ваше имя.

Он мог коснуться ее губ, лица... он мог...

— Валера.

Итак, ей не пришлось в "уазике", зеленом ящике
редакционном в училище ремесленное ехать, дабы
там снять

сюжет о том, как завсегда и недавние районной
комнаты

милиции, путь исправления избрав, овладевают
навыками

нужными швей-мотористок.

Не-а.

— Валерия, — ее начальница приветствовала
голосом от

непрерывной ингаляции, вдыханья неумеренного
дыма

ядовитого незнавшим, чудной, мелодичной
середины тембра,

меж шелестом и писком смешно метавшимся и
путавшимся в

мелких, не прочищавших глотку, увы, совсем,
комочках

кашля.

— Все отменяется. У них вчера там эта отличница,
которую подсовывали нам, другую дуру исколола
ножницами

так, что в областной полночи шили-зашивали.

Да.

Но ехать надо все равно. Правда, не на машине, ее
забрал с утра и возвращать не собирался отдел
кондовый

сельской жизни, на автобусе предстояло Лере прокатиться до

центра. Домой вернуться, можно так сказать.

— Ты представляешь, — бычком пространство протыкала Кира, прикуривала от жалкого, истлевшего и вновь

дырявила эфир, — они сами позвонили. Прямо сказка какая-то.

Отличное, сказали, начинание. Мы целиком и полностью за. А

главное, ну, надо же, как повезло, своевременно, сказали, и

актуально.

В общем, похоже, попала в точку Кира Лабутина со своей "Студией Диско", а это помимо всего прочего означало

вот что, Валера Додд, должна была, конечно, неминуемо

звездой телеэкрана стать, ибо, ее, красулю нашу, предполагала

Кира Венедиктовна ведущей сделать популярной (ну, кто бы

сомневался) молодежной передачи.

Замечательно.

Не рукой, сующей в кадр микрофон, не голосом, испорченным простывшим аппаратом, не ухом-носом,

мелькнувшим в какое-то мгновение черной галкой, ей быть

отныне в центре, в фокусе, под светом плавиться юпитеров,

свой дивный морщить пяточок, в волнение приводя всю еще

годную к воспроизводству часть населения промышленного

края.

Ух!

Но прежде, прежде, надо было еще поработать,
потрудиться, засучить рукава, подоткнуть юбку.

То есть.

— Вот, Валера, координаты. Это коллектив горного.

Клуб "33 и 1/3". Лауреаты областного конкурса,
между

прочим. С их программы нам рекомендовано начать.

Поезжай,

разыщи, побеседуй, и обязательно узнай, когда у
них

ближайший вечер, когда можно приехать
посмотреть на них и,

кстати, заодно спроси, что эти дроби означают.

— Дроби... ну, это просто скорость вращения
долгоиграющей пластинки, — старался, лез из кожи

в

конопушках Толя, перед нежданной гостьей
суетился, не знал,

где усадить, чем угостить и как к себе
расположить, — тридцать

три и одна треть оборота в секунду... простите, в
минуту,

конечно же... придете домой, посмотрите, всегда на
лейбе

пишется.

Ах, ах, ах, кого благодарить за столь счастливое

светил расположение небесных, благоприятное
звезд

сочетанье и луны? Судьбу ли, свою невиданную

прозорливость или же лейтенанта Макунько, Толян,
право, не

знал. Но склонен был, все больше укреплялся в
мысли, да, что

это он, лично Кузнец, свою удачу выпестовал,
выковал,

принес, как аист (буревестник?) всем кто ему поверил, за ним пошел.

Короче, глаза Анатолия горели, уши алели, рука то крошки мелкие катала в кармане чешских брючек плисовых,

то теребила значок вишневый на праведной груди, душа его

плясала, пела, как дура прыгала, вертелась, стучала пятками,

дышала часто, и Толя даже фигуру гнусную поэта, посмеявшегося не только вновь сюда явиться, но так непринужденно угол подпереть спиной, законам распостраненья света вопреки не видел, игнорировал, не замечал.

Но, впрочем, негодяй терпенье коллектива популярного испытывал недолго, послушал, постоял и тихо

удалился, вышел.

Исчез.

Еще примерно час окучивал девчонку телевизионную

Толян, показывал сценарий, крутил отрывки песен, слайды

демонстрировал и напоследок (с плеча, геройски, махом)

пообещал в четверг ближайший, то есть буквально послезавтра, все это уже в логической последовательности, в

единстве композиционном повторить.

На удивленье гладко получалось. Славно. У вас товар,

у нас купец.

Отлично, замечательно.

И тем не менее лишь каши манной бултыханье

ощущала Лера в груди своей. Не ликовало сердце.
Укачивало,
ни чашки черной жидкости с немеренным объемом
растворенных углеводов, ни трубочки бумажные,
набитые
травой сушеной туго-туго, не помогали, не
оттягивали, словно
в "УАЗе" редакционном, несмотря на хамство и
самоуправство вечное отдела сельской нудной
жизни, все это
время она тряслась, куда-то ехала, качала головой,
железные
предметы круглой задевала и запахи вдыхала
мерзопакостные
бензина, масла и резины запасной.
Бээээээ. Бррррррррр.
Напиться бы водички чистой, прохладной, смочить
виски проточной и упасть, в простынку завернуться,
баю-баю.
Но путь домой, кто знает, кто предскажет, уж не
ведет ли он
(какими закоулками не пробирайся, а двор свой
собственный
придется пересечь) к автолюбителю бухому, Симе,
прямо в
лапы:
— Что, думала обманешь? Га-га-га!
Где ждет ее уже животное, томимое весенним
полнолунием разбуженным инстинктом смены
телки, чушки:
— У-тю-тю-ююю, лапушка!
Ах, в самом деле, Боже мой, определенно, не надо
выход запасной искать, так и идти, нести улыбочку,
паралитический бутончик, бантик, к тому, что
терпеливо,

носатенький такой, ждет ее, Леру, ну, кто бы сомневался,
сохнет в коридоре у отопленья ледяной трубы.
Конечно, она его узнала, еще бы, с первого взгляда,
и
это несмотря на общий недуг, заметно искаживший черты лица
одного и зоркость притупивший у другого. Он, Зух, великий,
безусловно, имел святое право ее не помнить, не замечать
веселую дуреху-восьмиклассницу порою давней, не обращать
внимания, не видеть разницы меж фартуками белыми, но, она,
Лера, разве способна была забыть тот вечер выпускников, те
обалденные, безумные, лихие танцы, что завершились воем
скорой помощи? Их провела, работавшая билетершей в клубе
энергетиков, мамаша Ленки Чесноковой через служебный, и
они втроем (еще Малюта) стояли сверху на балюстраде, все не
решаясь двинуть вниз, страшась попасться педагогам на глаза.
(Занятно, между тем, и то, что память девичья лишь образ поэта забубенного, отчаянно рявкавшего в микрофон,
гитару мучавшего, сохранила, а вот Толин приятный лик
соседа, безумье добросовестно на свиристелке "Юность"
оформлявшего в углу, увы... да, стерся. С одной стороны,

точка обзора не способствовала, с другой, скромность Толяна общеизвестна).

Всего-то минуло три года, и Лера баскетболистка малолетка звездой стала, а гордый независимый бунтарь

безвестным, с лопатой ночи коротающим работником

котельной Центральной бани с номерами, робеющим,

смущенно ждущим, ха-ха-ха. Приятно, что ни говорите, на

лестницу похожа жизнь.

Да, он ждал, стоял все это время, покусывая губы безобразные, у стенки в коридоре, большие пальцы рук

нелепых в ременных шлевках синих брючек, едва живая

подошва правого ботинка перпендикуляром к полу грязному.

— Вы, наверное, и как отсюда выйти не знаете?

В ответ сверкнули глазки, губка шевельнулась:

— В обмен на отчество?

— Задаром, — поэт был краток, как всегда.

— Бокал шампанского или же белой предпочитаете? галантно улыбался Зух, чертовски мило, к Валере, словно

растерявшейся от света, забавно замершей, остановившейся на

солнечном крылечке большого корпуса ЮГИ, с полупоклоном обращаясь.

— Сейчас?

— Немедленно!

Да, день счастливым оказался, долгожданным для

бармена Андрея из неопрятной забегаловки на
улице

Ноградская. Думал ли он, что Ленька Зух, дворовый
бука

гитарист, не только долг свой утренний уже к обеду
явится

отдать, о вот так покатило, повезло, в разнос пошел
пацан,

объявит сразу, сходу, без предисловий:

— Короче, можешь завтра забирать.

Распястье! Легендарное, серебрянное, блин, то
самое,

что еще в детстве, в пору школьную после набега
удалого

зимнего на спящую часовенку шахтерского погоста

искитимского широким жестом покровителя и тезки

Зуху

подарил сиделец ныне вечный Ленька Филин.

Мать, женщина-ударница, казалось, не уступит

никогда, и вдруг, кот-слон-тарелка, отдал за
пятьдесят,

бутылки советского полусухого ростовского завода
не считая.

За так, совсем рехнулся парень.

Сгорим до тла, сгорим до тла,

Пусть остается пустота,

Пусть остается темнота,

Но нет прекраснее костра

На свете ничего.

И не стошнило. Права была Малюта, не дышать, вот
фокус в чем, если глотнуть побольше, сразу принять
в себя,

без рассуждений, без оглядки, много, оно ложится,
плюхается

мягким теплым комом и растекается чудесно, не
желчью, а

смешком, пузырьками мелкими в нос ударяя.
И стало славно, весело, цедить из горлышка чуть-
что
готовый взбунтоваться, вспениться напиток не так
уж сложно
оказалось, ну, кто бы мог подумать, во дворике
двадцать
седьмого магазина за столиком пустым
картежников
вечерних, под ветками молодой листвой уже
пытающихся по
дружески от посторонних глаз укрыть и спрятать
кленов.
И дух окреп, и появился аппетит внезапно, и
захотелось посидеть уже в тепле котлетном,
маргаринном
кафе "Весеннее". И с макаронами гуляш пошел, и
щи
вчерашние, и местного разлива соляры цвета
стылой "Агдам".
Ну, а когда, тяжелой мокрой тряпкой по ногам
пройдясь, им намекнула толстая неряха, пора бы
честь знать,
дорогие, уж восемь вот-вот возвестит "Маяк"
сигналом
точным времени московского, не страшно
показалось пойти
продолжить в "Льдинку", гадюшник, вотчину
подонков, вроде
Швец-Царева.
Даже забавно Симку подразнить хвостом, глазами
этого губастика безумного, готового как-будто бы
сожрать,
всю Леру проглотить, в желудке? в сердце?
спрятать, но,

правда, не способного притронуться, коснуться,
преодолеть

последний трудный миллиметр пространства
наэлектризованного.

— ... ну, это фуфло, знаешь, в школе... про сокола...
тело жирное в утесах... херня все это... мрак...
природой

правит Великий Змей... он ползет... поняла... и он
всеведущ и

вездесущ... хочешь я тебя сделаю ящерицей?...
хочешь?

А Симы-то не оказалось в "Льдине". Ни Ирки, ни
Ивановых, тишина, никто на огонек, отведать пунша
пламень

голубой не заскочил в сей вечер. И беспокойство
охватило, и

вариант естественный спуститься с сигаретой вниз,
но не

прикуривая, тихо выйти, в ночную превратиться
фею,

летящую без провожатых, уж не прельщал.

Но глупо было думать, что нерешительность, такая
безнадежная, забавная под фонарей языческими
лунами

Советского проспекта, в темном дворе (а как туда с
ним не

войти, с высоким, сильным кавалером, увы) не
обернется

вдруг угрюмою готовностью преодолеть себя во что
бы то ни
стало.

Ах, вот и все, уже стоит, красуля, спиной ощущая
стену лишь кирпичную, и с глупою улыбочкой из-под
полуприкрытых век безвольно наблюдает, кажется,
как

надвигаясь, голова лохматая окошек желтых свет в
доме

напротив заслоняет.

Ну?

Как много воздуха, прохладного весеннего, может
втянуть в себя, вобрать спортсменки бывшей грудь,
и выдуть

разом:

— Пара-пара-парадуемся на своем веку! — словно
блином наотмашь мокрым по лицу.

Зух отшатнулся, ошалев, а Лера смылась, исчезла,
скрылась моментально в проеме черном своего
подъезда, в

грехом невинным пахнувшей дыре.

Адью.

ЧЕТВЕРГ

часть вторая

ЛЕРА

Ну, понедельник, понятно, тут уж ничего не
попишешь, раскрывай ворота и будь готов,
природная

аномалия, черный день, правофланговый, тупой
верзила — вот

такие ручищи. Но четверг, милый душка, котик с
усиками, на

дружеской ноге с пятницей, розовощекой
коротышкой — рот до

ушей, не день, а одно сплошное предвкушение
грядущей

беззаботности, и надо же, не заладился с утра, одно
цеплять

стал за другое, нанизывать, сплетать, валить,
тащить в одну

большую кучу, и вот уже в упревшем, осовевшем, на
солнцепеке задохнувшемся — готовом, мертвом

Трансагентстве, нельзя автобусов весенних
расписание

изучить на стенке в уголке без того, чтоб не
проквкали

знакомый голос за спиной:

— Ну, здравствуй, здравствуй.

Но, впрочем, начался день хорошо. Чудесно даже. В
полшестого с постели нечесанную, но трезвую и
праведную,

поднял отец. Вернулся.

Дзинь-дзинь-дзинь.

Такой вот у Валеры папка, никогда не полезет в
карман за своим ключом, не станет мелочью
звенеть, ронять

трамвайные талоны на пол, суетиться, утро ли,
вечер, я

пришел, молока не принес, Бог не дал, но и не с
пустыми

руками. Встречай, страна, своих героев.

Да, уехал Николай Петрович в прошлую пятницу за
лосем, а, может быть, за утками, или таежных
кабальеро

глухарей с деревьев посшибать, не важно, плечо
давненько не

бодрила отдача старой доброй тулки, вот и собрался
бывший

егерь в гости к приятелю в заказник на реке Дерсу.

Не вовремя, вы скажите. Улыбкой вас обезоружит
круглолицый Додд, на стол поставит два стаканчика
калибра

малого, но боевого, и угостит рассказом о том, как
чучело

хорька недавно подручным материалом набивал для
краеведческой кунсткамеры, музея областного.

В общем, уехал изводить на воле капсуля, те, что

придуманы покойным Жевело, но вот вернулся,
наконец,
раньше обещанного, и не с мешком
полиэтиленовым, кроваво
пузырящимся лосиной печенью, не с парой
красноперых
певцов отголосивших, нет, с рыбой.
— Держи! — дочурке протянул ведро, накрытое
штормовкою линялой, а в цинковом — акула,
крокодил, ух,
щука, владычица морей и рек, метр будет, пожалуй
что, зубов
и жестяной блестящей чешуи.
Короче, утро началось с ухи, с отцовских прибауток.
Отменно, весело день занимался, майский,
замечательный, и обещал, порхая от завтрака к
обеду,
мотивчик беззаботный промурлыкать, прелюдией
мелькнуть
короткой, необременительной к вечерней
дискотеке, куда
предполагала Лера прибыть лицом значительным,
желанным,
в прекрасной блузке синевы небесной и новой юбке.
Атас!
Но, что-то не связалось, не состыковалось, чуть-чуть
сместилась полоса бумажная на половинку,
ничтожную,
смешную, сантиметра жалкого, неправильно легла
на валик
первый, с противным шелестом была двумя другими
втянута
неверно, косо, криво, пошла, поехала, поперла
гармошкой,
веером, малярской тубетейкой, пароходиком, и
вышел,

Господи прости, не дивный календарь настенный
"Красоты
среднего течения Томи", а пакостное нечто,
разводы, пятна,
кляксы — грязь, готовая сложиться, предстать
какой угодно
гадостью, то зенками молочными блеснуть
начальника
Валеры нового, Курбатова Олега Анатольевича, то
жабьей
пастью растянуться сестры двоюродной Анастасии
Савельевны Синенко.
Вот, черт.
Нет, скорее уж кабан. Боров в соку, ватрушка
свежеиспеченная прямой кишкой здорового,
функционирующего безотказно организма, цветет,
лоснится,
ну, разве только пахнет странно — "Шипром", но,
впрочем, тот,
кому случалось жидкость употреблять не только
после бритья,
и этому не слишком удивится.
Угу. Такой вот у Валеры Додд теперь патрон, шеф,
заместитель председателя областного
телерадиокомитета Олег
Курбатов, уже, наверно, месяц исправно
исполняющий
обязанности Валеркиного благодетеля — Альберта
Алексеевича
Печенина.
Да, жил, был человек, носил несвежие сорочки,
заколку безобразную, часы "Ракета", любил
порассуждать о
творчестве и об упадке кинематографа, Валеру
принял на

работу, невиданную единицу штатную учредив ли,
отыскав в

каких-то одному ему лишь ведомых инструкциях
казенных,

короче, никому не портил настроения, не делал зла,
пошел

себе на голодный желудок в один апрельский
мокрый

понедельник рентгеновский, обыкновенный,
заурядный

сделать снимок, и не вернулся.

То есть вернулся, но ровно на два часа, собрал
вещички, двустволку любимую зачем-то вытащил из
шкафа,

задумчиво погладил, вернул на место, хотел
стопарик

"русской" проглотить на посошок — стакан внезапно
целый

влил в холодный пищевод и в хирургическое
отделение по

лужам, по радуге селедочной, отвратной прямиком.

В общем, слег, и хотя, как говорили, прооперирован
удачно был и на поправку, вроде бы пошел, но из
клиники

выписываться еще только собирался, еще только
надеялся

вернуться в свой пропахший пеплом стылым и
ношенным

исподним кабинет, всего лишь, хвала Создателю, из
стационарного в амбулаторного больного
превратиться.

Ох.

Такие дела-делишки. Такая малина, лафа Курбатову
Олегу Анатольевичу, снеговика, батону, сайке в
костюмчике

из эдинбургской материи отменной.

Долго он к Валере подбирался, в день Красной
Армии

галантный, искрящийся мельчайшим воробьиным
бисером,

щекастый, лишь с ней одной желал мазурку
танцевать,

Восьмого марта полпачки "Салема" невосполнимого
на кралю

хитрую извел, под лестницей с ней дым пуская,
заманивая в

квартиру холостяцкую коллекцией роскошной
записей

невиданных, неслыханных пытаюсь соблазнить.

И вновь не поняла. Улыбочкой отделалась, глазенок
прищуром. Но, все, привет, теперь игра пойдет в
одни ворота,

попалась курочка, приехала.

Ням-ням.

М-да. А все почему, а потому, господа хорошие, что
Валерию Николаевну Додд сразу невзлюбил весь
женский

коллектив областной студии телевидения. То есть,
вернее,

принял поначалу настороженно, ну, а затем уже в
часы

занятий служебных ежедневных возможность
приглядеться к

новенькой имея несравненную, в конце концов
суровым

чувством неприязни проникся, пропитался,
сформировал,

короче, отношение определенное.

И дело тут вовсе даже не в двухпальцевой
машинистке Анюте (интуиция женская коей,
образованием,

воспитанием и прочим не униженная, в день первый
же
откликнулась звоночком, подсказала — не просто
так
филейчики, окорочка, нежная гузочка Курбатова
Олега
Анатольевича вдруг заиграли, встрепенулись,
взволновались
ах, сколько сил было положено на этот жир, на это
сало
мерзкое, да), но праведное возмущение уже
корреспондентов
и младших редакторов, как не понять, если с
приходом этой
твари долгоногой, единственным на студии местом,
где мог
мужчина выпить чашку кофе или "Опалом"
угоститься,
оказалась комната редакции программ для
учащейся
молодежи и юношества.
Ох-ох-ох.
Ну, как не посочувствовать им, молодым, красивым,
часа ждущим своего напрасно, если вдобавок ко
всем обидам
несносным предыдущим внезапно выясняется, что
мать,
святая женщина, Надежда Константиновна,
заступник
наркомпрос, единственная, может быть,
возможность
засветиться по-настоящему, войти в дома, шагнуть с
экрана
голубого, в сердца и души постучаться суровые
сибирские, и

та сплыла, ушла, дана все той же, той же Лерке
Додд,

крысочке драной, потаскушке, ей, и никому
другому,

достанется роль несравненная ведущей, звезды, в
без всякого

сомнения сулящей, обещающей гвоздем, сенсацией
сезона

телевизионного стать, точно, передаче "Студия
Диско".

Ы-ыы-ыыы.

Но, впрочем, чу, поспешные наветы, напраслина,
уместны ли, ну, право же, быть может зря
припутали коллег

мы, действительно, да мало ли в конце-концов на
свете людей

с обостренным чувством справедливости, готовых
положить

за правду жизни живот и прочий уд, подобно
древнему герою,

короче, кто, неизвестно, но написал письмо,
настукал на

машинке пишущей железной, цок-цок, и в ящик
сбросил с

государственным гербом, лети с приветом, ляг,
уголки

расправив в папочку зеленую, что на столе перед
товарищем

Курбатовым, под дермантином с буквами "XXII
областная

конференция" укройся и жди момента, мига, когда
на том

конце немытого, прокуренного коридора мелькнет
весенней

ласточкой знакомый свитерок и джинсы голубые.

Ага, явилась.

— Алло, Валерия Николаевна... здравствуйте, мур мур... зайдите, пожалуйста, ко мне, мур-мур...
Итак, без пиджака (жара-с и атмосферный столб полуденный нещадно давит-с) он у окна стоял, поворотив свой

сочный, ядреный, идеально круглый зад к двери, и любовался

майскими затеями пернатых, что продолженьем рода, воркуя,

занимались меж швелеров стальные ноги раскорячившей

нелепо телебашни.

— Доброе утро.

— А, Валерия Николаевна... мур-мур... прошу, прошу...

М-да, а когда-то, не так уж, впрочем, и давно (лет семь каких-нибудь тому назад) иначе, куда как романтичнее

имел обыкновенье брать в плен девичьи сердца Олег

Курбатов.

Угу, при той же, практически, комплекции (ну, разве что подмышки не разили столь откровенно советским сыром,

сайрой, сельдереем) устойчивый, квадратный, гладкий Олег

имел успех у длинноногих и курносых, подумать только, не

подневольным кислым поцелуем подчиненной пробавлялся, а

смачным, сладким, полноценным засосом ему случалось и не

раз перекрывали кислород девчонки о-го-го какие.

А все почему?

В походы лыжные и пешие ходил турист Олег

Курбатов, стирал студент филфака о камни
Поднебесных

Зубьев подошвы вечные дюймовые ботинок
польских

армейского фасона, пил на привалах черный чай, о
кружку

алюминевую губы обжигая, ну, а затем, гитару в
руки брал и:

— Милая моя, солнышко лесное,

Где, в каких краях, встретишься со мною? — лукаво
интересовался, испытывал круг карих, голубых,
зеленых,

сомкнувшийся у первобытного костра, уверенный
вполне,

очередное солнышко найдет его сегодня под луною
в палатке

одноместной у шершавого ствола сосны высокой и
прямой.

Еще бы.

Телеграмма уж готова,

Ни одной в ней запятой,

В ней всего четыре слова

— Олешка, у тебя глаза волшебные.

Хе-хе.

Но, правда, и так бывало, уже светает, а руки всего
лишь струны жесткие перебирают, холодного
бездушного

металла ощущают только напряжение, увы,
случалась под

полотном походным синим ужасная динама, и не
раз, и тет-а

тет, и доз-а-до.

Романтика была, а определенности, ясности,
четкости,

надежности не было.

Появилось же и то, и другое, и третье, когда петь

перестал. То есть, если в первый год своей службы
(тогда корреспондентом) на телевидении Олег
Анатольевич еще мог,
нет, нет, да и вспомнить про запахи тайги,
куплетами про
крылья и капот расстрогать, то став инструктором
горкома
организации общественной орденоносной, стихами
все реже,
все неохотней изъяснялся, предпочетал
распространенные,
немыслимым количеством придаточных
задушенные, обилием
причастий отглагольных замордованные и
окосевшие от
бесконечного повтора слов вводных, предложения,
без
подлежащих нередко и без сказуемого часто, зато
созвучные
текущему моменту и духу формулируемой
резолюции.
И что же? Казалось бы, прощай, Маруся-ламповая,
девчонки — души нараспашку, до свидания. Ха, как
бы не так.
Напротив, все те, кому предписывал незыблемый и
нерушимый демократического централизма
принцип, Олегу не
отказывали никогда, сначала секретари первичек,
затем, когда
заведовать отделом стал — инструктора, да, и так
далее, все
привечали, целовали, хотя, конечно, опрокинув
маленькую,
напитка классового вмазав, насчет чудесного
сиянья глаз

обыкновенья не имели как-то распостраняться,
игрой

фантазии, поэзией вообще не баловали, ну, если
так, попросит

вдруг какая-нибудь свет включить, дабы
прекрасных персей

шевеленьем улучшить наполнение, размах и
частоту.

И все. Зато ни до, ни после никаких проблем...

Так бы и рос, так бы и шел стезею из оружейного
булыжника, был в аппарат уже и авангарда взят, но
что-то, как

лаконично объяснил ему (после двух месяцев
хождения с

портфелем новым лакированным по площади
парадной к

дверям нарядным) товарищ старший по борьбе:

— Не срослось.

И пришлось негаданно, нежданно диплом свой
синий,

светский из шкафа извлекать, идти работать по
специальности,

полученной когда-то в пединституте. Увы, в мир
возвращаться

неуютный, где кошечкам, голубкам двухсот
пшеничной, как

правило, бывает недостаточно, им песни подавай и
очи с

искрой загадочной на донышке хрусталика.

А она, искра, из коей некогда нешуточное, боевое
разгорелось пламя (дуга, достойная великой лампы
Ильича)

вновь светлячком июньским, таинственно
мерцающим во

мраке, становиться не хотела. То есть не пленяла
больше, не

завораживала, хоть снова пой, но к лицу ли ему,
второму

человеку в областном телерадиокомитете,
мальчишество такое
демонстрировать?

Увы, увы, уж что дают, то и приходилось брать —
тут

плоско, там квадратно, а носик-кнопочка и та в
веснушках.

Машинку вот ей электрическую организовал, чтоб
хоть не

сотрясалась, болезная, вся, стальные рычаги, как
мавзолей

огромной "Украины" в движенье приводя.

Но точка, об этом эпизоде можно и забыть,
хорошего,

как говорится, в меру, немного, Анюта-детка,
цветочек засуши

между страницами в линейку реестра исходящей
почты и за

работу:

— Вот это к завтрашнему дню, в трех экземплярах.

Ну, а мы, мур-мур, кис-кис, займемся рыбой
настоящей, серьезной, призовой, тихонечко
подтянем к берегу

и, хоп, в сачок ее, родимую.

У-тю-тю.

— Присаживайтесь, Валерия Николаевна, как дела,
как

ваша новая передача? Готовите материал?
Проблемы,

трудности? — играли брови на круглой харе
обязанности

исполняющего, приподнимались вверх и опускались
вниз,

отслеживая интонации начальственной волну, а с ними вместе

с завидною синхронность демонстрируя (предательски в противофазе) уши шевелились.

— Кира Венедиктовна о вас высокого мнения.

— Да?

(Душняк! Парфен французкий от фабрики "Свобода" и тот, бедняга, не справлялся, сникал перед сибирской удалью желез многообразных. Природа споспешествовала сохранению преемственности в руководстве облтелерадио.

Оно подванивало трогательно и неизменно.)

Фу!

— Да, Кира Венедиктовна в вас верит, да и мы, как видите, ее заявку рассмотрев, одоблив, определенные надежды связывали с вами. Конечно... но...

И тут внезапно меж мягких и подвижных щек сурово утвердился нос, застыл киянкой скорбной.

— Ситуация внезапно осложнилась... Да, собственно, ознакомьтесь...

И холодочек, сквознячок с собой неся, мурашки произвольные по-детски разбегаться заставляя, листочек

белый спланировал с широкого стола Валере в руки.

— Это копия, — любезно предостерег от глупостей хозяин кабинета гостью милую.

"... моральный облик означенной ведущей... какой пример извлечь для молодежи... еще восьмого класса

ученицей будучи... и по наклонной плоскости катясь... на фоне

пьянства ежедневного... теряя облик
человеческий... разврата
дух и разложения... без сожаленья указать на
дверь..."

Эге, значит вовек ей не отмазаться. Не зарастет
народная тропа, не засосет болотная водица, смыв
не работает.

Но, впрочем, и новостей немало, успехов,
достижений"... в

нетрезвом виде... во хмелю... в вине и водке
последние остатки

совести и чести утопив...". Так, так, на месте не
стоим, идем

намеченным путем к заветной цели.

Дела.

— Некрасивая история... Очень некрасивая...,-
сошлись

подушечка к подушечке пять коротышек правой с
упитанными близнецами левой.

— Что, заявление писать? — упала прядь веселая на
девичье лицо, и тут же рукой изящной, тонкой была
отброшена с высокомерием неподражаемым.

— Ну, нет, зачем же, — вдруг ожило лицо товарища
Курбатова, задвигались хрящи, клетчатка под
кожей белою

заволновалась, и мерзкая явилась, на пухлом
улыбка

расползлась:

— Я думаю, вы доказать сумеете, нисколько в этом я
не

сомневаюсь, найдете способ опровергнуть все эти...

Тут бывший идеолог замялся на мгновение,
синонимы

словам вранье и подлое подыскивая наилучшие:

— Эээ... сведения... мм... факты, скажем так... Вы

девушка красивая, неглупая... я думаю безвыходных
совсем

уж положений не бывает... Да... И если что, — ах,
эти брызги

бледно-голубые, на белых, санфаянсовых шарах, все
очевидно, явно, прямо, таинственности, в самом
деле, не

осталось никакой, — и если что, звоните прямо
мне... домой...

вот телефончик... Легко запомнить, но я записал...
звоните,

подумаем, прикинем вместе варианты... сю-сю...

Поняла! Поняла, поняла, нет никаких сомнений,
сообразила, что к чему, хватает на лету! И
улыбнулся на

прощанье, два ряда желтых показал.

Дерьмо! Козел! Ублюдок!

Исчезнуть, смыться, отвалить, уехать.

Пока, действительно, остатки, как там, совести и
чести, хрен знает чего, того, что мешает, не дает
балдеть,

тащиться, ловить свой кайф со всеми наравне, в
душе? на

сердце? где-то там внутри ворочаются, теплятся,
жизнь

отравляя? украшая? непонятым смыслом, не
важно, пока

еще имеешь право всей Лерой навалиться, прижать,
ладони

запустить в густую, спутанную сном мальчишеским,
коротким, шевелюру и эти дивные ресницы согреть
дыханием

своим:

— Давай поженимся! Давай, мой милый!

Дзинь-дзинь.

— Валера, вы не забыли, сегодня вечером клуб горного

устраивает показательную дискотеку?

— Да, да, конечно, Кира Венедиктовна, а у вас что-то

случилось дома, вы сегодня будете?

— Нет, Валера, нет. Андрюшу все-таки кладут в больницу снова обследоваться, так что сегодня без меня там

управляйтесь, а вечером давайте встретимся на остановке.

— Хорошо.

— Начало в девятнадцать тридцать?

— Да.

— Отлично, значит ровно в семь у Искитимского моста.

Отбой. Бип-бип-бип-бип.

Ага, значит Кира еще не в курсе. Или это пока вообще

наше частное с товарищем Курбатовым дело? Похоже.

Свинное рыло. Упырек. Ну, подожди, я тебе еще пришлю

открытку из многоцветного набора для молодой хозяйки

"Холодный поросенок с хреном".

А с Кирой, с Кирой Венедиктовной, с ней надо просто

сегодня вечером поговорить, по-бабьи все ей выложить, как

есть. Авось поймет.

В общем, так. Если завтра уехать первым, шестичасовым, то можно будет к третьей паре уже быть там.

Стоять спиной к окну в старинном, пахнущем клопами,

крысами и вековой известкой коридоре, стоять и ждать, когда

чуть только захлебнется трелями звонок, откинется, привычно

стали купеческой испытывая прочность, дверная створка, и

вместе со спертым воздухом наружу, на свободу повалит,

посыпется народ худой и беззаботный.

— Привет. Не ждал? Пойдем.

— Куда?

— Куда угодно! В сад на скамейку, на чердак, а хочешь,

можно прямо здесь.

— Валера....

— Я...

На лестнице столкнулась с Анютой, ах, личико у нас какое, ну, просто светится, сияет:

— Салют! — нежнее нежного ей улыбнулась Лера.

Отлично! Так держать!

А в проходной, везение какое, надо же, нос к носу повстречалась с гримзой из соседнего отдела, Мариной

Бородатых, и с ней была любезна, как наследница престола.

— Всего!

И сразу села на девятку, словно специально поданную

к трапу, и покатила, поехала, любуясь грязными витринами,

котами, тополями, торговцами колбой, и встречный ветерок

спешил то о цветеньи плановом сирени доложить, то о поре

горячей в чанах огромных плавить битум.

Господи, как это просто, и непонятно лишь одно, что

же мешало раньше, не дожидаясь приглашения ио,
иа, иу,

бумажки с красными строками и грамотно
оставленным для

дырокола по левому краю, на все это подобье жизни
плюнуть.

Тьфу. Дура ты, Лера. Ну, это уж само собой.

Итак, часу в четвертом, потном, пыльном, весеннюю
голубизну на желтизну июньскую сменившего
внезапно дня,

вдоль жухлой зелени вонючим автотранспортом
замученного

прежде времени газона, от остановки автобуса
"Завод

Электромашина" к бессмысленно с утра на солнце
пялившемуся большими окнами невымытыми,
ослепшему и

задохнувшемуся Трансагентству шла девушка
красивая,

высокая в приятном тонком свитерке и джинсах
голубых,

беспечно уплетая эскиммо на палочке по 22 копейки.

Плыла, смешно подхватывала языком полоски
расползавшегося шоколада, не думая и не
подозревая, что

серия приятных встреч и неожиданных свиданий
через

мгновений парочку каких-то продолжится, и новое,
пленив

простой и непосредственностью родственной, в
цепи

появится звено:

— Ты что, еще здесь?

Стася. Кузина заносчивая и самоуверенная.
Студентка

библиотечного факультета Южносибирского
института
культуры.

Везет, определенно, Лере, ее несет нелегкая
сегодня

от края к краю, от мерзко чмокающего порока к
скрипучему

невыносимо благочестию, без остановок, перекуров,
колбаской-колбасой, пурум-пурум-пурум, с
холодным

завтраком в пути.

Ах ты, морально устойчивое существо,
высоконравственный до клеточки последней
организм, только

тебя, голубушка, сегодня и не хватало, с твоими
взглядами

"деваться некуда" и проповедью невозможной.

Ну, чем порадуешь на этот раз?

Да, кто бы мог подумать, что кровь родная, сестры,
делившие когда-то мирно, любовно, делянки
земляники

конопатой на склонах солнечных у шестопаловских
прудов,

будут стоять друг перед другом с такими
недостойными,

позорными ухмылками, улыбочками на устах?

Нехорошо.

А ведь смешно сказать, Валерка не то чтоб
радовалась, но с любопытством некоторым
студентки

появления ждала в расцвеченном иллюминацией,
красивом

желто-красном центре областном. Не то чтобы себя,
кулему

малолетнюю времен далеких, равняла с этой
очкастой

выдергой, но все же с симпатией какой-то, какую-то, быть

может, занятную метаморфозу предвкушая.

Кстати, из Томска возвращалась, не сомневалась даже

ни минуты, что дверь ей, с глазами синими от удивления,

сестра откроет. Ну, где ей жить, как не в пустующей зимой

неделями квартире, не пропадать же, в самом деле, шестнадцати уютным метрам Лериным, прекрасной комнатке

с окошком, словно специально для нее, для Стаси, выходящим

во двор вечно украдкой разгружающего контейнеры коричневые магазина "Книжный мир".

— Не, забоялась, что меня кормить придется, — папаша,

как всегда был незатейлив, и в настроении отменном, — Да и

ближе ей, вроде как, там. Через дорогу от общежитья

институт.

Ах, превратилась, превратилась, да, только не в подружку неуклюжую, но верную. Лягушкой обернулась,

жабой, на материнский взгляд немой и долгий внезапно

перестала натекаться и расцвела. Уф, наконец-то, еще одной

синенкой на свете больше стало.

Шагают октябрята, стоят безмолвно пионеры и пароходные гудки гудят. Дочь героического бригадира

Савелия Синенко, погибшего по глупости бухих мерзавцев

мужиков на лесосеке, разве чета она соплявке, у
которой не то

чтобы фотопортрета нет раскрашенного (с доски
почета

переданного на вечное хранение) в квартире
городской, у нее,

простите, неизвестно, был ли хоть кто-нибудь
вообще для

черно-белой карточки доски вокзальной "Ты помоги
милиции,

товарищ".

Вот так, вот так, то есть как-то само собой понятно
стало, что девочке серьезной Стасе пришла пора за
дело

приниматься, ну, а удел известной шалаболки Леры,
увы и ах.

Впрочем, некоторые условности, конечно,
соблюдались, кое-какая видимость, определенно,
сохранялась

до поры, до времени, а точнее говоря, до встречи
идиотской

мартовской. Господи, и почему их, правильных и
яснооких,

всех до одного так тянет в "Льдинку"? Нет, нет, да и
заглянет,

то недотрога вдруг какой-нибудь, нос выше головы,
или

чистюля, прищуренные глазки и губки — Боже-ж-
мой. Чтоб

праведного гнева огонь в душе не гас? Наверно, а
зачем еще.

Так или иначе, но, ах-ах, студентки симпатичные,
особы поэтические, для торжества невинного с
мороженым и

пуншем гнилое, неподходящее для чистых душ
возвышенных,

наивно и время выбрали, и место. Второй этаж "Льдинки", в

пору когда на третьем вот-вот начнутся танцы с водкой, а на

первом блевотина с милицией и анашой.

— Значит, вот как ты живешь?

— Ага.

Короче, презирала, избегала, мараться не хотела, стихи за томиком читала томик, в серебряной ладье над миром

проплывая, в высокой рубке из слоновой кости, и надо же, ни

раньше, и ни позже возникла в потной духоте от солнца

спятившего, мозгов лишившегося четверга, и сразу, сходу,

едва лишь, вслед за:

— Здравствуй, здравствуй, — к ней повернула Лера свои

смешливые глаза, допрос продолжила, дознание, словно в тот

раз на месте нечто упустила, не выловила что-то важное

чрезвычайно (кость мозговую?) принципиальное из общепитовской, чем Бог послал разящей, гущи жизни:

— Ты еще здесь?

— А где же мне быть?

— Как где?

Надо же, мамочки, сколько серьезности, сколько немерянного превосходства всезнайки и зануды во всем ее

нелепом облике. А, между прочим, доча, в такой вот бабушкиной блузке даже косые механизаторы к тебе в клуб не

пойдут читать "Как закалялась сталь".

— Как где? В Томске, конечно же.

Что? Уж не поиздеваться ли она решила, ехидничать надумала подруга? Не много ли, ты, детка, на себя берешь?

Жалеть не будешь?

— Это с чего... с чего ты это взяла, лапуля?

— Тоже мне тайна, да об этом вся Культура только и говорит.

— О чем?

— О том, что сын у Ермачихи женится против ее воли.

ЖАБА

Вот так. Сначала скромный невесомый восьмиугольник из тусклого металла белого со штампом "10

грамм", потом такой же правильный геометрически, но уже

толстый, бойкий, наглый — пятьдесят, качнулась стрелка и

опускаться стала чашечка, еще шутя, подмигивая, дескать, да,

если что, назад в любой момент, и вдруг, не алюминий

мягкий, сговорчивый, сталь, сверкающая гирька, сотня, хлоп,

за ней безжалостный, дурной бочонок — 250, и, наконец, абсурдный просто среди аптечного хозяйства мелких

движений, вкрадчивых шажков, угрюмый, грязный, из

овощной палатки напрямиком притопал килограмм, упал и

пригвоздил, лишь жалко звякнули цепочки и бесполезное

уткнулось в небо коромысло.

Баланс утрачен, смех и слезы, вселенское исчезло

равновесие, швы разошлись, поехали, все поплыло.
Увы.

Но дано ли нам узнать, к кому прибыло то, что
убыло

здесь. Достойный ли человек вкусил плоды везения
внезапного, необъяснимого и трижды благословил
чудесный

солнечный четверг?

О, да. Еще бы.

Ибо, едва лишь начал со дна поганый подниматься
слой зеленой мерзкой мути, в минуту невеселую, что
Лера

встретила под сальною начальственной луной, в
нелепом

низком кресле сидя, на широком, заваленном
газетами,

унылыми брошюрами, томами ППС и карточками с
нужными

цитатами, столе заведующего отделом партийной
жизни и

строительства газеты областной "Южбасс" Ефима
Кузнецова,

задергался, заверещал, проглатывая даже паузу
обязательную,

дурацкий черный аппарат с кружком дырявым на
самом

видном месте.

Зззззззззз.

И пришлось отпрыску Ефима Айзиковича Толе
бежать (сам боец агитпропа в это время года уже
находился за

лесом и рекой, то есть по доброй, сложившейся
давно

традиции в местечке дачном Журавли, за "Эрикой"
выносливой дни проводил сиюминутным, суетным,
всецело

поглощенный, а вечерами с Идой Соломоновной о вечном, но, впрочем, тоже мелком и незначительном порассуждать ходил на бережок крутой Томи), да, вынужден был президент и дискжокей, оставив поздний завтрак свой (яичко всмятку желтой сытности томительное истекание из краем ложечки неловко рассеченного бочка) нестись в папашиный кабинет, дабы унять, попрыгать неожиданно решившую, пластмассу.

— Алло.

— Анатолий?

— Да, я.

— А это тезка. Не узнал?

Ну, как же, как же, конечно, и даже мысль шальная успела промелькнуть, да неужели же решилось и с Москвой,

простили окончательно, готовьте сумки, аппарат и разговорник датско-русский, в балтийском клубе будете

работать, уверены, с ответственным заданьем справитесь, не подкачаете.

Ура!

Да, Толин номер набрал в обкоме ВЛКСМ, в особнячке приятном двухэтажном под тополями, уже

готовыми вполне сезон игры с огнем, со спичками очередной

открыть, Анатолий Васильевич Тимощенко, недавний лидер

молодежи институтской, нечаянная вечерняя беседа
с коим

вернула некогда, чуть было не утратившего в жизни
ориентира Кузнецова младшего, на путь
единственный, но
верный.

— Собраться быстро сможете? Транспорт наш.
Нет, не в столицу, на турбазу "Юность" пока что
приглашал с командой Кузнецова Тимоха, за год
работы в штабе

молодежном, кстати, сумевший вырасти
стремительно,

инструктором простым весной прошлой начал, а
ныне уж

завотделом числился, входил в руководящую
головку,

молодец.

Да, между прочим, кое-кто (нашлись, конечно,
злопыхатели, не сомневайтесь) успех "тридцати
трех и одной

трети" на том незабываемом ристалище апрельском
дискотечном именно работой, влиянием, давлением
на жюри

бывшего секретаря горного и объясняли. Ложь, что
может

изменить буквально пара слов каких-то, на ходу, в
фойе, всего

лишь брошенная в момент, в момент, когда кресало
чиркало о

ремень? Бессовестные сплетни, грязь. Просто
отлично

подготовились ребята, и в этом весь секрет успеха.

И, кстати, приглянулись (позицией
гражданственной,

бескомпромиссностью, ответственностью) главному

комсомольцу области Игорю Ильичу Цуркану.
Собственно
говоря, это он вчера, во время обсуждения
программы
культурной закрытия слета молодых
рационализаторов
производства о юношах, крутивших музыку
задорную в
последний вечер недавнего мероприятия и
вспомнил:

— А этих васьков из горного нельзя зафаловать?

— Можно, — ответил тут же, на глупые раздумья,
колебанья, губ шевеленье, подниманье плеч
напрасно время не
теряя, Толя Тимощенко, кивнул уверенно,
надежный,

солидный человек, готовность выразил, короче,
устроить все и
в полном соответствии, и к удовольствию
всеобщему.

За это, заметим откровенно, и ценил Тимоху Жаба,
хозяин, и видеть потому желал бы рядом, то есть
иметь все
время под рукой. Сказал — сделал (как? что? — не
важно) молча

и в самом лучшем виде. Правильный парень,
нужный, не
хитроверткий падла, фуцан, зам по идеологии
Раденич Костя.

Колчак, швец-царевского клана выкормыш,
племянник чей-то по их мусарской линии, казалось
вот-вот
свалит Жабу и в кресло сядет под знамя юбилейное,
визировать входящие и исходящие начнет. К тому
все шло.

Царевская брала, пал тесть Цуркана, могучий Степан Андреич,
и им самим шикарно некогда обставленные кабинеты чужих и неприятных ему новых владельцев принимали. Да. Как ни прискорбно. Да. А вот зять Кондакова, и как только этого (ействительно, возможно вследствие досадной нетерпеливости его мамы на свет явившимся повадки и черты большого батрасьена не утратившим вполне) широкогрудого, без шеи, мастера по вольной борьбе, не звали за глаза, и тупицей, и дебиллом, и валенком ушастым, толковей и сноровистее многих оказался. Конечно, надоумил тесть.
— На твое место, говоришь, нацелился цыпленок? А ты его выше, через себя, Игорек. Сказал, тяжелым мельхиором поддел кусочек языка, застывший в искрящемся, горчицей смазанном желе, и рюмочку, проглоченную только что отправил догонять.
— Понял?
Определенно. Не просто выше, а еще и как бы в сторону, отвел угрозу навсегда. Ага. Позвал к себе перед началом самым отчетно-выборной компании и ласково бумагу из ЦК (конечно, и друзьям московским спасибо, как же,

устроили) змеюге показал:

— Сечешь масть, Константин? Местечко на область кинули в МГИМО. Хочу твою кандидатуру зарядить.

Ты как?

Ах, щечки вспыхнули, и был таков, сгорел наш гаврик.

— Ну, все тогда, давай всю эту туту-муту оформляй. Здесь ворох, клин, на два мешка.

Вот вам и Жаба, Игорек Цуркан, сын спецпереселенца, обхитрил, объегорил вохровское семя.

Ловко.

Не зря Степану Кондакову пришелся ко двору.

Впрочем, в дом управляющего делами обкома партии брали

примака из знаменитой ну разве крапивы буйством, да шпаной

жестокой, деревни, давным-давно проглоченной Заводским,

вкривь и вкось расползшимся районом города Южносибирска,

Чушки, не за красивые глаза и ум недюженный, что притаился

неприметный под бобриком борцовским, грозившим рано или

поздно у переносицы сойтись с бровями. Нет, брали любезного за выдающуюся тягу, натурально за необыкновенную, особую, конфигурацию его балды, коя,

хвала тебе, Создатель, покой душе неистойой Светланы,

дочурки младшей Степана Кондакова принесла.

И в кого мерзавка такой оторвой уродилась, никто понять не в силах был. Поверите ли, но лет с пятнадцати

голуба загуляла. Да как. Еще семнадцать не стукнуло девице, а

папка уж привез ей в первый раз с Кирпичной главврача,

доставил, чтоб доктор позорных насекомых размножение в

волосяных покровах полудетских приватно прекратил.

Боже, Боже, так бы, наверно, и окончила свой век под

лавками автовокзала, кабы не турнир международный на

призы фарфоровые газеты "Труд". Спасибо, Провиденье

смиловалось.

Итак, зимою семидесятого, перед красавцем главным

корпусом профилактория завода "Фибролит" торжественно в

безветрии морозном опали флаги стран и близких, и далеких, а

на матах праздничных цветных, в отстроенном недавно (на

зависть всем на областные денежки) спортивном зале,

сошлись, дабы поспорить за кубки в разводах кисельных

голубых дулевских, захватов и подсечек мастера.

А на трибунах поглазеть, позырить честные, открытые

единоборства собралось (и кто им выдавал спецпропуска, и

как хватило розовых картонок с куском угля на фоне

шестеренки, тайна) все, что способно было только в центре

областном стрелять глазами, вертеть частями тела
выступающими и губки делать бантиком. Буквально
оголилась передовая, "Томь" обезлюдела и опустел
"Южбасс",

без малого неделю не с кем было отдохнуть,
потанцевать,

словечком перекинуться согражданам, в наш город
занесенным по личной или казенной вечной
надобности.

Да, событие незабываемое.

Ну, а в центральной ложе, среди гостей почетных,
блузоном желтым глаз ласкает Света Кондакова. Ух.

И все

болеют за чеха, блондина — сажень в плечах, а его
земляк наш,

черт скуластый Жаба, берет и делает. И венгра
укладывает

лихо, и соотечественника, братишку, из Нижнего
Тагила.

Короче, шансов не оставляет никому в своей
говяжьей

полутяжелой категории парнишка из Чушков.

Герой, а финал чуть было не отдал болгарину. Чуть
было не по плечо не оказался Христо Жихову на
пьедестале с

цифрами 3-2-1.

Не может быть! И виной тому Светка Кондакова,
выбравшая не чистенький, сверкающий среди снега
красным

пластиком призывным лоджий (на первом этаже за
каждой

шторкой одетые в спортивные костюмы стальные
люди с

медными глазами) чудесный корпус для гостей из
стран нам

братских, нет, под своды веток, лап сосновых, в
синь леса
углубилась девка, подкралась к подкрашенной лишь
наскоро
пятиэтажке, в дверь юркнула служебного подъезда,
пока
гремела пара мужиков небритых железом сеток с
бутылками
молочными буфетными, и затаилась.
Заходит в комнату свою без двух минут турнира
победитель, конечно же чтоб лечь и выспаться как
следует
перед последним, главным поединком, а его рука,
пальчонки
игруньи шаловливой за гусака, за беленького, цап, и
он,
веселый дурачок, мгновенно, оп, и в поросенка
превратился
розового, гладкого, ей-Богу, хрюкнет.
И хрюкнул, кто бы сомневался, и мяукнул, и даже
гавкнул пару раз, короче, не ошиблась Света, не
обмануло, в
заблуждение не ввело ее борцовское трико, заснула
девушка в
конце концов — лик просветленный, на сердце
благодать, и
юноша с ней рядом прикорнул, но не прошло и трех
часов,
кулак угрюмый тренерский сотряс дверь хлипкую,
вскочил
бедняга:
— Слышу, батя!
И в душ, то ледяную включит, то горячую, то голову
подставит, то живот, и вроде бы взбодрился, но
разве Тихона,
волчару старого, обманешь.

— Тебе сейчас расплющить нюхалку, паскуда, или
попозже, — ааа-ааах, но хрящичек не хрустнул, не
хлынула

горячая в два ручейка, работа — заглядение, не зря
Глеб

Алексеич Тихонов, заслуженный, любимый всеми
тренер

федерации родной, остановился, щупальца разжал
ни раньше

и ни позже, тика в тiku.

Профессор психологии спортивной знал, понимал,
еще бы, продолжит его дело Христо Жихов, без
меры, без

оглядки, едва опустит в партер, едва почувствует,
что можно

финал взять чисто, пойдет в ход локоть
обязательно. Да,

скромный, невыдающийся нос Цура, лишенный
кислорода,

сжатый, смятый здоровым бугаем из Пловдива
такую бурю в

удаленных от него изрядно надпочечниках
произвел, что

Жаба, законам всем природы вопреки, огромным
стал,

ужасным, страшным, и жалкими колечками
рассыпались по

полу трудовые Жихова очки, когда его лопатки
вмял, вогнал, к

ковру приклеил насмерть рассвирепевший бык
чушковский,

какой там руку, лезвие просунешь фиг,
полмиллиметра

обоюдоострых.

Свободен.

И злобы никакой, взял Тихона и в раздевалку внес, а

тот бормочет, репа красная:

— Ах, ты, сученок, раскидай, убить тебя, ублюдка, мало...

С ума сошел мужик, совсем рехнулся. Но и Жаба молодец, хорош, с башкою мокрой, в куртешке легкой и с

медалью вышел на крыльцо, зачем? какого черта? да видно

было так назначено ему.

Стоит машина барская, "волжанка" — два ноля семнадцать, дверь открывается и чемпиона манит указательный, ключочек розовый, иди сюда, жеребчик, давай

скорее, племенной. Цур шаг, его за синюю болонью хватить и

втягивают внутрь, и кто, вчерашняя коза, ночная гостья.

— Куда?

— Ко мне.

А утром папа с мамой.

Кто? Чего?

— Он будет жить у нас.

И некуда деваться.

Таким вот образом, в бою чуть нос не потеряв, и симметричный ему орган (относительно чего поможет

циркуль вам определить) чуть было не сточив совсем, Игорь

Ильич Цуркан вдруг оказался зятем Степана Кондакова.

А был в ту пору Степан Андреевич человеком не простым, влиятельным, могущественным даже, и не столько

должность тут играла свою роль, хотя, конечно, безусловно,

вес придавала определенный его словам, желанья и поступки
наполняла смыслом государственным, но в первую очередь
благодаря отношениям неформальным, приятельским, что
связывали Степу и Бориса, а, проще говоря, управляющего
делами и первого секретаря, отца тогдашнего Юносибирской
области, Южбасса, творца морей, плотин и дамб, а также
чемпиона сбережения энергетических ресурсов, Бориса
Тимофеевича Владыко.
Случай, по правде говоря, редкий, но так уж вышло, сложилось, сохранили, по жизни как-то умудрились пронести
тепло прозрачной, без закуски, соседи бывшие по закуску
гаражному, пионеры автовождения, владельцы (одни из
первых в захолустье города Кольчугино) проворных, юрких
"Москвичей" за девять тысяч, парторг и механик водоотлива
прославленной трудом ударным шахты "Ворошиловский
стрелок". Ну, сами знаете, дискуссии мужские под козырьком
открытого капота, ключей трофейных торцевых позвякиванье
деловитое, стартера обороты трудные, и, наконец, клубочек
долгожданный голубой из выхлопной трубы. Ну вот и все,

пора ветошки наступает и алюминиевой посуды,
бидончика с
напитком, что сохраняет цвет даже отбулькав
восемь метров
толстых, тонких и прямых, давно томящемся в
тенечке, в
уголке.
Конечно, ясно кто, как правило, с разнообразным
инструментом управлялся, а кто затем умело
здравицы
произносил. В общем, привык Борис Тимофеевич
считать
Степана Кондакова хозяйственным, сноровистым,
умелым. Но
главное, сложилось рано мнение, и отложилось
убеждением в
его партийной голове, дабы все ездило отлично,
плавно, время
от времени обязан кто-то закатывать рубашки
рукава и масло
под ногти загонять. То есть, ценил Степана, да.
Ну, а тот сознаемся, ох, этим пользовался,
пользовался, пользовался.
Во всяком случае, нет, не напрасно, не зря Игорь
Ильич Цуркан снес героически однажды те
испытания, что
выпали на долю двух важнейших,
многофункциональных
частей его в суровых чушковских буднях
закаленного,
воспитанного тела. Жизнь Жабы заметно
изменилась после
пупсика на бампере и ленточек цветастых от
радиатора и до
багажника.
Возьмем хотя бы для примера, институт

технологический пищевой промышленности, в котором он, железной волей Тихона ведомый исключительно, перемещался третий год с курса на курс. После внезапной смены Игорьком среди сезона вида спорта, сие учебное, тогда такое молодое заведение, не только не распрострилось с юношей, наоборот, объятия раскрыло широко, засеменяло ему навстречу с улыбкой плотоядной, и Жаба, ни дня не числившийся в комсомоле до того момента, не только книжечку с парадной радугой наград и штампиков "уплачено" сейчас же получил, но, вот те раз, оказался первым справа от кресла председательствующего на заседаниях бюро.

Кстати, возможно, да, конечно, тут оплошал Степан Андреевич, ошибся, ведь мог же, спокойно, без церемоний с переходящими знаменами дать зятю его диплом и сделать завпроизводством какой-нибудь шашлычной или директором пивного зала на Красноармейской, эх, то-то горя не знал бы нынче, но странных предрассудков пленник, этот циничный и неглупый человек зачем-то вел его номенклатурными полями заповедными куда-то в завтра светлое: — Ну, подожди еще годок и будешь ты в ЦК с квартирою на Юго-Западе.

Увы, теперь и на общагу МГИМОвскую, и ту губ не раскатишь. М-да.

Руководитель соседу бывшему уж боле не благоволил, безоговорочному покровительству пришел конец.

Добилась своего, достигла цели шайка швец-царевская, со старой чоновкой и особисткой бабкой во главе поссорили

Владыко с Кондаковым.

Сошлись когда-то на автомобилях, и они же, средства

передвиженья, развели знакомых давних, не брезгавших в

иные времена соленой кильки хвостиками мокрыми из

гастронома за углом. Не верил, не верил, не сразу сдался

Борис Тимофеевич, но факты, факты, насекомые без крылышек (ать, пальцем бы размазал, но нельзя, секут), умело

собранные материалы заставили признать, способствовал

Степан, способствовал невольно, бескорыстно (тут никаких

сомнений не допускал товарищ Первый), но оказался

соучастником позорных, грязных махинаций отдела сельского

хозяйства со льготными талонами и чеками "Сибирский урожай".

— Борис, да я ж и мысли допустить не мог, что это все

они затеяли без твоего согласия.

Подвел, подвел, и был безжалостно понижен,

разжалован в директора и сослан в Зеленогорский районный
торг.

Вот так, теперь мог Жабу пристроить, ну, если только

командовать сельпо в Усть-Ковалихе. Впрочем, несмотря на

это, надежды и бодрости привычной духа не терял:

— Держись, — зятка не уставал учить, — Не суетись, еще

вернемся, повоюем.

И Цур держался. Вот Колчака в Москву отправил, то есть, все, получил вонючка подтверждение, подходит,

мандатную прошел, теперь билеты покупай экзамены сдавать.

— Давай отвальную.

— Ну, ладно, ладно, а... если взять... поехать в "Юность", к закрытию слета приурочить?

Да хоть к поносу приурочивай, сазан, к седьмому дню

запора, водяру, главное, организуй и музычку.

Что ж, намечался праздничек, а могло бы и не быть, ничего могло бы и не быть, кроме портвейна под прилавком и

сросшихся ирисок на витрине лавки у пристани Старочерново,

определенно, если бы осенней ночью прошлогодней три

ловких малых, отличник бывший и пара крепких троечников

из школы с английским уклоном не влезли в квартиру жожака

южносибирской молодежи, дабы оттуда вынести подарки, что

по традиции везли из дальних путешествий
секретари
разнообразных комитетов низовых, отправленные
группами
руководить по линии БММТ "Спутник".
Эээээх, какой компромат пропал, стопроцентный,
исключительный. Еще чуть-чуть и полную победу
одержали
бы из гроба (из засады?), с обочины истории
внезапно
вставшие розовощекими и бодрыми сторонники
суровой
линии, покончили бы раз и навсегда в организации
партийной
областной с уж было утвердившимися нравами
отребья
всякого из подкулачников и полицаев. Ох, золотая
жила,
ниточка, за кончик только дерни, потяни, тесть брал
на лапу,
зять мздой не брезговал, и не дожали, не дожали,
ай-ай-ай, и
что обидно, кто всему виной?
Кто? Сима. Дмитрий Швеиц-Царев, вынесли-то, ладно,
в грабители подавшиися для расширения кругозора
жизненного студенты вузов областного центра,
вынесли три
радиоприбора бытовых, шкатулок пару палехских со
Светкиными брюликами, то, се еще по мелочи, но
занесли-то,
занесли, слезой облейся Леонид-первопечатник,
инженер
покровитель конспираторов Красин, куда? мать
вашу,
идиоты, в квартиру первого секретаря горкома, к
Симе,

попросту сказать, который согласился по покупке,
барахло,

шурье-мурье продать.

Да, квадратный, вороватого Степана родственник со
счета списан был уже, открыжен, подчеркнут
красным марким

шариком, изъят из списков, обведен — готово, ан,
нет, не

вышло, остался на своем посту, как прежде в
бордовый бархат

вонзив локти, сидел на председательском почетном
месте

возле подноса с пепси-колой, тяжелым взглядом
земноводного неспешно обводя партер, зал в тунусе
держал.

Не сдавался, в общем, держался на плаву,
интриговал

даже немного и не без успеха, упирался, надеялся
на что-то,

существовал, а единственным, кому все это
продолжало

доставлять удовольствие, истинное, ни с чем не
сравнимое

удовлетворение, оставался папаша батрасьена,
Илия Цуркан,

диетологами из народного комиссариата ночных
марусь

переведенный одним махом в сорок шестом, без
подготовки и

предупреждения, с горячей мамалыги желтой на
бледно

синюю картошку.

— Тяни их, — повторял, — сынок!

— Пори! — сурово требовал, когда от лишнего
стаканчика домашнего двойной возгонки, под
помидорчик,

сосуды голубые выступали, вздувались на висках, —
пори их

всех и в нос, и в глаз, и в рот. Тяни безжалостно,
сучков.

И, надобно заметить, в известном фигуральном
смысле отеческий завет старался Жаба выполнять,
его

чушковское и неизменное по-фене-ботанье:

— Ну, будем всем теперь вам рвать гудок, — с уст не
сходившее, руководящей фразой, крылатой стало,
прижилось

в среде зубастых активистов области
промышленной.

И впрямь, что-то такое чудилось задорное, живое,
молодецкое, что-то от горнов, барабанов, труб
традиций

боевых шахтерских в этой угрозе, в этих
стахановских гудках,

"тревожно загудевших", хотелось строиться,
маршировать,

идти на приступ.

(То есть, попутно замечаем, умел и мог Игорь
Цуркан

энтузиазмом заразить, к сердцам горячим ключик
подобрать и

за собой увлечь людские массы. Перспективы роста
были, но,

обстоятельства, увы, сложились тому противно, не
благоприятствовали.)

Итак, команда ясная:

— Иди сюда, — звучала часто, венчала мероприятия,
регламент коих присутствие большеголовой
амфибии с

изрытым буйными угрями борцовского отрочества
(знак как

бы вечной молодости) рылом предполагал.

Так, получается, послушаться отца не мог, но и
буквально наказ суровый не воспринимал. Вернее,
долгое

время не воспринимал. Точнее... ммм, нет, кратко не
выходит.

Придется сообщить сначала, что пять, шесть лет
последних жена Светлана в ласках своего супруга
коротконового особо и не нуждалась, не то чтобы
пресытилась

конкретным безотказным ванькой-встанькой, нет,
вообще

запросы изменились, потребности другими стали,
вместе с

трубой, отнятой грубо во время первой
несчастливой

беременности, ушло желание былое попасть под
трактор

неприменно, паровоз, зверюгу жуткую из зоосада,
родник

иссяк, источник пересох, и для разрядки
гормональной этой

крикливой и нечистоплотной дуре теперь вполне
хватало

одной хорошей оплеухи.

Такая перемена драматическая.

Ну, а поскольку на триединство Игорькова никто не
покушался, он, в силу некоторых, уже сложившихся
привычек,

стереотипов, иногда скучал, тень набегала на чело,
синели

склеры, зрачок сливался, растворялся в радужке, и
ехал он

тогда в спортзал Химпрома и долго истязал там
грушу,

покорную судьбе, давно надежду потерявшую с
крюка

сорваться и (не до жиру) хотя бы на ноги упасть,
заставить
маму вспомнить гада в перчатках кожаных.
Увы.
Коллективное же скотство аппаратных
междусобойчиков как-то не радовало, деревенское
ли тут
происхождение сказывалось, натура скрытная,
характер
замкнутый, мешало что-то, в общем, и от всех этих
потных,
водных, сибирских, финских процедур с девчонками
из
секторов учета на утро следующее лишь голову
тянуло
отстегнуть и бросить на фиг в корзину для бумаг, то
есть, на
пиво с водкой нажимал как правило Игорь Ильич.
(Кстати, зам по идеологии недавний Олег Курбатов
любителем большим совместных омовений был, его
и взяли
на площадь в дом красивый как специалиста, да
развернуться
не успел на новом месте, поперли, когда вдруг
выяснилось,
настучал проворный кто-то, что последний
Ленинский
субботник отметил он, отправив два студенческих
отряда
месить цемент ударно на объектах своего
гаражного
кооператива. И правильно, тому кто чисто работать
не умеет,
разве доверишь ответственный участок.)
В общем, без искры, без поэзии жил Жаба, пузырь

початый сосуды расширяющей настойки спирта на дубовых щепках держал за створкой шкафа полированного в кабинете, мрачней, угрюмей становился от весны к весне, собака и есть собака — глаза пустые, желтый клык, а съездил в семьдесят восьмом на фестиваль всемирный молодежи, и, нате вам, сюрприз, вернулся, нет, нет, другим не став, таким же в общем-то животным большеротым, но словно обрести сумев, там, вдалеке от Родины, утраченный как-будто бы навеки к жизни интерес. Те же дискотеки идиотские. Ну, мало ли какие рекомендации спускают сверху. Всемерно поддержать... направить... включиться... мобилизовать... И ладно, вызвал кого надо, вручил что следует, а сам на полигон стрелковый училища военного командного валить мишени поясные, палить из калаша. Он, нет же, сам лично кампанию возглавил, руководил, идею смотра не просто так одобрил, а деньги, и немалые, сумел пробить, и даже лично посетил мероприятие, то есть заехал пару раз во время конкурсной недели, а на закрытие со всеми прибыл — третьими-вторыми и даже в зал, в

фойе, то есть, из спецбуфета пару раз с ухмылкой
благодарной выходил.

Конечно, понимал, как там, на корабле, в карибских
звездных водах — кофе с молоком, здесь не
получится, пусть

даже этот дискжокей шалмана политеховского,
курчавенький,

и был похож, да, вылитый Игнасио Кевлар, товарищ
переводчик. Один в один, только глазенки голубые,
но в этом,

черт, какой-то даже свой был цимус.

И тоже дискотека ухала. Открытие кубинское
(парилка, но с чухонской сухой баней не сравнить. И
так, по

письмам если и постановлениям судить, не одному
лишь

Жабе показалось). Короче, музыка играла, свет
рожу делал

синей, а рубаху красной, и все свои, все равные, и
Игорек

даже ходил в круг общий, переминался там с
блестящей
ряхой.

Нормально. Одно хреново, в баре только ром,
папашиного первача не слаще.

— Пойдем, — позвал Игната, — ко мне в каюту. Еще
одна

бутылка белой, пшеничной есть в заначке.

Вел выпить, больше ничего.

Разве мог знать, что повторится. Все повторится,
как

тогда, в семидесятом, среди снегов и сосен, в топке
темной,

душной и железной, его опять возьмут за рукоятку,
штырь,

рычаг, единственный покрытый нежным эпителием,
а не

коростой носорожьей орган.

Перед отплытием еще часок успели у Игната дома
провести. И все.

С тех пор услышать стоит этот Бони М.

Хач, хач, хач, хач.

И сразу себя видишь шашалычником косматым с
цыпленочком румяным, желтым, тепленьким на
вертеле.

— Значит "Икаруса" не надо? — уже шутя, прощался
с

Кузнецом Тимоха, — в "Пазик" вполне поместитесь?

— Должны. А вот в Москву, — отважился на
дерзость

дискоклуба президент, — пожалуй, лучше на
"Икарусе".

— В Москву поедете поездом, как все, — спокойно и
по

деловому отозвался ответственный товарищ, —
специальный

будет поезд на Олимпиаду.

— Как все! Как все! Специальный поезд! — вопил
Кузнец на кухне. Предубеждению и предрассудкам
вопреки,

трудом и честностью, трудом, настойчивостью,
прямотой,

чего угодно, чего угодно добиться можно.

— Как все! Как все! — орал и прыгал идиот, и
опрокинув-таки никелированный кофейник, чуть
было

спортивные штаны не припаял к разгоряченным
ляжкам.

ВАНЯ

Госстрах не просыхал уже вторую неделю. Да, вице

президент дискотеки "33 и 1/3" Иван Робертович
Закс кирял.

Не то чтобы совсем уж безнадежно пузыри пускал
из бездны

омута осеннего запоя, нет, скорее спотыкался,
плюхался,

плескался на мелководье летнем, но каждый день.
Стакан

сирени перед едой и полтора на сон грядущий —
пустой

огнетушитель в шкаф.

С похвальным педантизмом соблюдал режим, но
улучшенья состоянья констатировать нельзя было
никак.

Настроение Ванино от часа к часу лишь гаже и
паскудней

делалось, увы. Ну, а чего, собственно, ожидать, если
такие

ужасные несправедливости творятся в мире. Да
просто

заговор злодейский, чудовищные происки одних,
доверчивая

близорукость и непростительное легкоеверие других,
а силы

убывали, надежды таяли и потому хотелось выть,
урчать,

идти, обходы совершать, бороться за здоровый быт,
культуру

поведения и общежития, а полномочий, полномочий
уже не

было.

Увы.

А всего лишь месяц с небольшим тому назад, в
апреле, как весел был Иван, кудряв, улыбчив, в
какие дали без

очков глядел, вокруг него роились люди, искали девушки

знакомства, рассвет скворцов петать под окошко посылал,

суббота росами встречала на стекле сосуда, извлеченного из

холодильника без морозилки "Север".

Цель жизни была у Закса и место в боевом строю, а с

апреля одна лишь видимость, иллюзия, обман.

То есть, в конце марта подготовив устав и утвердив программу на заседании бюро, Иван спокойно уехал на

свадьбу к брату, отсутствовал неделю ровно, вернулся:

— Ну, как дела, — зашел румяный, синеглазый в комитет, — согласовали?

— А, да... — замялся как-то странно, неестественно Олег

Васильев, большеголовый, но безгубый юноша, — жидок тут

бегал, переделывал, вчера, по-моему, все подписал.

— Что переделывал?

— Устав, — скривилась щелка, округлились щечки, да

хмыкнуть насморк помешал, — в обкоме объявили, что

президентом русский быть должен обязательно.

— Так он же...

— Понятно, но фамилия-то Кузнецов.

Шмяк.

Было. Закс — президент, Ким — зам по оргвопросам и

Кузнецов — художественный руководитель, по-нашему, по

алфавиту, нормально, честно и, главное, понятно, какой

участок у кого. Иван перед начальством за четкость линии и

верность курса отвечает, Ким с опергруппой отсекает

безбилетников и чужаков, на нем порядок в зале, ну, а Натан

(так, люди утверждают и оснований им не верить нет, зовут

свои Абрама дома) читает заранее одобренные тексты в

микрофон и ленты воспроизведение, а также перемотку

организует. Все четко.

А стало. Товарищ русский (дальше некуда) теперь все

сам, один, большой и важный, а остальных, так, чтобы только

видимость создать в каких-то тухлых вице превратили. Вот,

дескать, коллективность, подстраховка, козлы, и, главное, ведь

убедить хотят, будто все это по распоряженью личному, по

указанию Тимохи. Толика Тимощенко.

А уши-то торчат. Лопухи свешиваются. Сразу видно, сидите тут под пенопластовыми орденами всего лишь первый

год. Да Толику, если хотите знать, Тимохе, Иван еще первокурсником приглянулся. Уже тогда он его двинул, уже

тогда такие вещи доверял... Да что там говорить, когда

собрались Ваню в прошлом году за двух семестров косу с

лентами хвостов разнообразных из института
выпнуть, разве
не Толя его буквально вытащил, спас, академ
придумал,
устроил, организовал?
Василий Александрович Устрялов топил Госстраха.

И
сомневаться нечего. Преподаватель старший с
теоретической
механики. Ему Иван был должен одних контрольных
восемь
или девять. В натуре, спиногрыз. Не то что Толя, тот
вел,
конечно, как же, какие-то лабораторные у
разработчиков, но
это так, для смеха, для отвода глаз, просто
полставки получал.

А Василий Александрович Устрялов, извините, в
какую не
заглянешь, зайдешь кабинку по малой мимолетной
или
серьезной полуденной нужде в четвертом корпусе,
и
колесован он, и четвертован, и на копалке жилистой
катается,

будьте любезны. Ну, ей же Богу, падла.
Сам лично ректор Сатаров представлять пришел.
— Кто за? Кто против?
— Единогласно.
— Что ж, поздравляю, ваш новый секретарь,
товарищи
комсомольцы, кандидат физ-мат наук.

Рады стараться!
И Ваня пясть искренне несет сухую в общем строю,
примите уж, Василий Александрович, от всей души,
от сердца

чистого, теперь Василием нам будете, своим, то
есть, кто

прошлое помянет...

Эгэ, угу, оттыкали под стягом алым горнисты,
запевалы, глядит на Ваню кукиш, фи́га с маслом,
руки ж не

подает.

— А, вот ты, — сложилась, наконец, в приветливое
"на

ка, выкуси", — оказывается, где сидишь,
бездельник.

Ду-ду-ду. Укрепили, называется актив. Квартирой
завлекли.

Душило зло, брало за горло. Словно и впрямь
накаркал фатер. Да, осуждал, не понимал
механизатор совхоза

"Светлый путь" Роберт Адольфович Закс желанья
сына

младшего Ивана оторваться от корней, дать деру из
деревни.

Наше дело — земля, — не мог взять в толк, что с
головою у потомка багровоглазый человек, — она и
кормит, и

греет.

— Кто ты там? Никто. А на земле... Здесь из дерьма
конфетку всегда можно сделать, — с любимой
присказкой к

любимой теме приступал хозяин дома ладного с
наличниками

красными и желтым петушком, — вот когда нас с
Волги

привезли, тут что было...

Ну, если бы еще на зоотехника или агронома пошел
учиться, ну, ладно, коли разрешили, а то ведь в
горный

институт. Маркшейдер — звучит по-человечески,
неплохо, но
суть, однако, в том, что по осени копать картошку и
ту можно
теперь не ехать.
Не был, не был на своих братьев Рудольфа и
Эрнеста
Иван похож. И все врачи виноваты, как назвали в
честь Ивана
Теплякова (хороший человек, но, видно, сглазил),
что ехал на
"ковровце" к соседу председателю "Дзержинца"
свататься, да
вот жениться не успев, прямо на грядке, в поле
роды принял,
так и пошло, поехало.
Здоровым не был никогда, а семилеткой зимой за
братьями на речку увязался. И они, понятно,
хороши, два лба,
нет, чтобы сразу без затей прогнать у дома, решили
в прятки
поиграть с мальцом, вот и пришлось вместо
холодных
жестянок сонных из аккуратных лунок тащить из
полыньи
дымящейся орущего, не только шапку и пимы, а их
обоих
наровившего, как-будто, утопить Ивана.
Два месяца провел в больнице в городе. Как уж и
чем
там пичкали, Бог знает, но кашлять начал еще в
машине.
Вроде бы и лето было жаркое, и делать ничего не
заставляли,
а осенью пришлось везти опять.
Иван записку написал к какому-то Семену

Леопольдовичу Шимкису.

— Что, Эмма, вылечит, в Семена перекрестишь?

Обиделась. Через год, когда уже в Южносибирск не
то к Андрею Афанасьевичу, не то к Афанасию
Андреевичу

собиралась, шутить не стал. Молчал. И что тут
скажешь, если

и так уже все ясно, пропал парнишка, загнутили. Ну,
разве при

таком внимании, с такими нежностями из пацана
хоть что-то

путное получится?

Конечно, нет.

В общем, год без малого в тубинтернате-санатории
провел и вернулся с хорошими анализами, но
совершенным

барчуком и белоручкой. И, плюс к тому, не тронь
его. Кролей

и тех кормить ни-ни, пусть лучше полежит.

Эээээх!

— Значит едешь-таки в институт?

— Угу.

— Смотри, как знаешь, только денег не дам ни
копейки.

Мать дала. Сорок рублей. Всю жизнь, наверное,
полушки собирала. И провожать пошла на попутку
до Белова.

— Ты ехай, Ваня, готлестерер не слушай.

Черт, если б вместе с именем еще бы и свою
фамилию

девичью сыну подарила Эмма Вирховски, да, разве
нарекли

Ивана сволочи общажные Госстрахом. По-крайней
мере за

пархатого уж точно никто б не принимал.

Его белокурого, голубоглазого арийца. Собственно до

того, как стал Иван общественником, связал свою жизнь с

союзом ленинским, бедняга и вообразить не мог, что такая

чушь собачья вообще возможна.

И тем не менее, с завидным постоянством, тем, кто по

зову сердца и долгу службы, чернильной путанкой сиреневыми кренделями украшал углы бумажек официальных,

за инициалами невинными И.Р. перед фамилией саксонской

Закс мерещился не Иоган Рудольфович, сын одноглазого

часовщика, и не Иозеф Рихардович, неразговорчивый потомок

саратовского кузнеца, нет, обязательно велеричивый и

нахальный Исаак Рувимович, огромный шнобель, харя хитрая

и родственники в Тель-Авиве.

Да, покуда не окунулся с головой Иван в энтузиазма гущу, весь не отдался борьбе за юные умы, не стал проводником идей великих и бессмертных, он и не подозревал, какие подлые, коварные и гнусные враги,

объединенные поручкой племенной, узами кровными, у него, у

преданного делу подчинения меньшинства большинству

душой и телом, на этом свете есть.

Ну, а без борьбы, без равнения ежедневного на идеалы светлые, Иван попросту не мог. То есть лишился бы

буквально и средств к существованию, и крова.
Увы, хоть и наплел в деревне младший Закс чего-то
про маркшейдера, балл, набранный при
поступлении не
оставлял ему надежды искусством землемера
овладеть,
хорошо, что подсказали, и он успел за день до
срока, роковой
черты, буквально чудом, документы перенести и
принят был
на технологию пропащую, унылую, разработки
рудных
месторождений. Но и ремеслу нехитрому "братъ
больше,
кидать дальше" учиться не по силам оказалось
Ване.
Вот тогда-то и открыл ему Тимоха, благодетель,
способ стипендию при неудах иметь и жить в
общаге в
комнате отдельной.
— Шустри, шустри, будь под рукой и на виду.
Год продержался Ваня, а к четвертому семестру,
все,
казаться стало, выгонят без вариантов, и снова спас
Тимоха,
придумал академ и посадил на место второго,
освобожденного
секретаря.
Ах, времечко какое было, рос, капитал, багаж
копился, и, елы-палы, все коту под хвост. В сентябре
Толю в
обком забрали, явился в октябре Устрялов
солидность
придавать.
— Здгаствуйте.
(Да, такой же он Устрялов, как Кузня — Кузнецов)

Василий Александрович — так и поверил Ваня.
— Хогошо, хогошо.
Чернявый, глаза карие, и нос горбатый, всю зиму дурака валял, смотрел, как Ваня прогибается, невиданную демонстрирует, показывает преданность, а в апреле за одну неделю всего лишил. Был Ваня вторым лицом в ячейке организации общественной, ответственным за верность идеалам, то есть с кем надо имел контакт понятный тесный, это с одной стороны, а с другой, президентом дискоклуба состоял, заслуженной любовью широких масс мог наслаждаться. А что теперь? Хорошо Настасья Алексеевна, комендант общежития, его взяла мести дорожки, дворником, деньжата хоть какие-то и комната осталась. А впереди — тоска, курсовики, зачетов пять и три экзамена. Короче, шансов никаких даже до годовщины Октября ближайшей в науке горной храмe продержаться. Так что обрадовался, ох, как обрадовался Госстрах, когда вся эта кутерьма вокруг большого бюста началась. Нет, вылупились синенькие не случайно, не просто так глазенки Ильича люминисцентною гуашью заиграли, теперь их всех, всех до одного, на воду чистую Иван, какие могут быть

сомнения, выведет.

В общем, сочинил Ванюша два письма, и подписался,

открыто, честно, Иван Закс, без отчества, но имя полностью,

пускай удостоверятся. Одно о положении в комсомольской

организации ЮГИ, второе о личности и гнусной деятельности

Натана Израилевича Кузнецова.

Мало того, что человек этот, взявшийся руководить воспитательно-массовой работой, политически неблагонадежен и морально неустойчив, этот Иуда без

смазки-верткий, попросту вор. Да, утащил к себе домой

общественный, на смотре-конкурсе всем институтом завоеванный магнитофон высшего класса "Илеть".

Ну, ясно, ясно и понятно, готов был Ваня, только позовите, объяснить откуда что растет. Но...

Не звали. Таскали всех, в полном составе комитет, полдискотекла, СТЭМ, кто только не ходил к товарищу

специальному юлить, кривить душой, лукавить, врать. А Вани,

Госстраха, бывшего второго секретаря и президента как бы и

не существовало вовсе. Его, и Игорька Кима.

Впрочем, кто его знает, Потомка. Он парень скользкий, азиат, скуластый чурка. Тогда в апреле сразу Ваню

продал. Еще бы, ему-то что, как распределял билеты и

пригласительные, девчонок у дверей сортировал, так и остался

при своем, при шкурном интересе.

Или вот сейчас, неделю пили вместе, а позавчера
пропал, исчез, вторую ночь в общагу не приходит...
Определенно заговор! Коварнейшие происки,
предательские козни, ох, мало Гитлер их стрелял,
фашист,
собака, за дело взялся — делай до конца. Иль не по
силам
просто человеку с ордою дьявольской сражаться?
Погубят,
погубят, только тронь.
— Ким, сука!
Никого.
"Неужто и Потомок тоже..." — уныло думал Ваня, в
трусах зеленых и майке кремовой на панцирной
кровати сидя.
Никто за стенкою не отзывался на стук настойчивый
и
кулаком, и пяткой, не реагировал, и в сердце
венозная, густая
пребывала ненависть, а в душе тоска туманом
кислым,
нехорошим поднималась.
Потомок, ладно, можно пережить, но вместе с ним,
козлом, внезапно улетучились и деньги. Капуста,
башли,
грязь, купюры, которыми, миф о происхожденьи
небесном,
царском, оправдывая словно, сорил дружины
институтской
комсомольско-молодежной командир, без
сожалений тратил,
не считая. (Легко быть щедрым, если после каждой
дискотеки,
хоть не закуривай, бумажки потные, пятерочки, да
трюльнички, так и выпархивают из карманов,
гнусные, ловить

не успеваешь).

Поил. Поил, кормил, сознаемся, последнюю неделю
Госстраха Ким, своих же денег у Ивана оставалось
шесть

рублей, и половину, мать родная, он, несчастный,
уже вчера
истратил.

В общем, немедленно за первым утренним стаканом
просил измученный борьбой бесплодной организм
второй, но

опрокинешь, засосешь, искрой черешневой,
бордовой,

соблазняющий, манящий элексир — не хватит, не
хватит точно

пузыря до ужина, сгорит до срока сок закавказкой
падалицы

мелкой, и что тогда, чем встретишь угреватую луну,
когда за

форточку зацепится полночной репой.

— Пушкину сдай! — бес подбивал писклявым
голоском

на безрассудство.

— Позора больше, все равно нигде не принимают,
хрипел, за правым спрятавшись плечом ангел-
хранитель.

Вот.

Вот в какой момент трагического раздвоения,
внутренней борьбы (печенка примеривается к
селезенке, и

почку укусить аппендикс норовит) некто
стеснительный и

скромный три точки, два тире отбил с той стороны
входной

двери.

— Кто там?

— Из деканата, — открытым текстом сообщил,

растолковал значение таинственных сигналов
знакомый

птичий голос:

— Да открывай же... Распишись, Иван, — курносая
Натуля, секретарша технологического потупилась,
то есть

взгляд сам собой упал, приклеился, остановился на
гладких,

бледно-голубых конечностях разжалованного,
попавшего в

немилось вожака.

— Где? — вертя бумажек пару, не понимает Ваня,
что

плоть его сиротская, нелепо обнаженная, сегодня за
обедом

под компот пойдет у младшего, падежных
окончаний

наглотавшегося, предлогами, приставками по горло
сытого,

печатающего, тык-тык-тык, персонала.

— Ну, там вот, видишь, "получил".

— А, тут...

— Мне эту, тебе эту. До свиданья.

"Тов. Закс И.Р. Сегодня в 15.35 Вас примет ректор
ЮГИ, доктор технических наук, профессор М.С.
Сатаров по

Вашей просьбе".

Читал, читал и вдруг дошло. Разобрались, родные.

Оценили, ждут. Эх, хрустнул пальцами, присел,
привстал,

сквозь дым сомнений в ясность прошагал, да,
полстакана

ровно, и все, ни грамма больше. Для плавности
движений и

четкости мышленья, безусловно. Допил и бриться,
мыться,

гладить брюки, носки в порядок приводить.
День занимался исключительный.
Об этом думал мелкозвездный офицер Виктор
Михайлович Макунько, меж фетровых и шерстяных,
бесформенных и неуклюжих, достойно пронося свой
головной
убор, кепчонку восьмиклинку из хлопка и полиамида
на
шелковой подкладке.
Вдоль по Советскому проспекту мужчина шел, в
витринах тканей столбенели манекены, игрушки
строились в
ряды за стеклами "Весны", затем приветствовали
пешехода
барсуки, сурки, орудия ремесел сибирского
крестьянства,
линявшие, черневшие на стендах музея
краеведческого и,
наконец, екатерининская пушка салютовала
свежими
окурками, что прислуживали полночные гуляки к
сосновой
пробке, вбитой некогда хранителем заботливым
бандуре
черной в жерло боевое.
Ура!
Шел брать товарищ Макунько удачу, страуса,
хохлатого павлина сегодня должен был схватить за
хвост
рукою медной культуриста-велосипедиста
бесстрашный
лейтенант. И, но-оооо! Вперед, поехали, где шило,
где мундир
парадный, мама, вскипел в бокале полусладкий,
новосибирский сводный брат напитка "Буратино" и
золотинки

две с гвардейской пробой Гоззнака (одну на правый, и одну на левый) из моря пена вынесла, к ногам швырнула сына твоего.

Впрочем, нет, шампанского не будет, не будет углекислота спиралью белой завиваться, хрусталь тяжелый

холодя, желчь скатится скупой слезой, и в пересохших глотках

запершит противно. Все, это максимум, чего мог от коллег по

управленью ожидать Виктор Михайлович.

Да, не любили, не жаловали перспективного соратники, неспешной, кропотливой работы мастера. Ни в

грош не ставили, завидовали, Бог им судья. На самом деле

просто невезение, судьбы гримаса, бессовестной фортуны

неурезанный лизун, преподло увлажнивший нижнюю губу и

даже родинку на подбородке, у-тю-тю, в тьму-таракань

загнали, заставили отличника б-вой и по-ческой подготовки Т

ского училища связи К-та Г-т-ой Б-ти начать оперативно

превентивную работу не в столице многомиллионной, скажем,

а в городе, где всех нестойких политически, на ложь, посулы

падких, незрелых, инстинктов не изживших, с червоточинкой

в душе, включая зачатых, но нерожденных, всего-то было

сорок восемь тысяч двести пятнадцать человек.

Увы, увy, внук вертухая, сверхсрочника-героя,
потомок особиста, племянник полковника в
костюме-тройке,
поверить невозможно, начал там, где по традиции
заканчивают, ужас, в дыре, в шахтерском городке —
рцке. С
задатками такими, родословной, подумать только,
впрочем, от
дедушки остались грамоты, медалей двести грамм и
следопытов юных интерес к судьбе изъятого из
поросычьеi
кобуры на вечное хранение в специальном фонде
пистолета
именного, системы старой, но прославленной ТТ.
На деда серьезно рассчитывать нельзя было. А на
отца, родителя, тем более, собственно, Виктор
Михайлович
без колебаний бы отрекся от капитана рыжего,
пропившего и
ум, и честь, и совесть — святое, бордовый коленкор,
а
развернешь — щит Токтамыша, меч Александра
Невского, но
времена прошли решений легких и простых. Так что:
— После художеств макуньковских, — не осуждала
мать
родного брата, приблизить не спешившего к себе,
столичному,
синелампасному, сына сестры:
— Любой тут поневоле осторожничать начнет, но
ничего, у Алексея сердце доброе, он только так, для
вида
строжится, но сына моего не бросит, будь спокоен.
И не ошиблась, все верно, пригляделся, испытал на
прочность в изъеденном, источенном колючей,
мелкой пылью

угольной — рцке и двинул сразу, резко, в областное управление,

на место хлебное, куратором учебного (студентов только

десять тысяч) заведенья. Плюс ассистенты сторублевые,

преподаватели с нагрузкой "за двадцать академических часов

в неделю", в общем, народ такой, что только успевай

докладывать, подписывать, подклеивать и подшивать. Не

хочешь, а отличишься. Определенно таилось нечто, поджидало Виктора Михайловича в паркетных

(нечищенных и безобразных) коридорах дома бесконечного, раннехрущевской

вольности, развязности невероятной в плане, казалось, право,

пролетарий утомленный, горнорабочий — гегемона представитель, вихры склонил у скверика на улице

Весенняя,

при этом попу с аркой и крыльцом бесцеремонно выкатил на

площадь Первопроходца Волкова, а ноги в сапогах резиновых

устало вытянул во всю длину Демьяна Бедного.

А молодого-о-о коного-о-она-аа, несут с пробитой головой.

Настоящее, большое дело, серьезное, должно было, обязано было созреть для хорошего человека,

многообещающего уполномоченного, конечно, не случайно

гуашью голубой налились в день апрельский гляделки Ильича,

однажды выкатились, хоп, шары полтинники-червонцы.

Иным заблудшим, непутевым душам почудилось прищурился бюстjera, косит ехидно, вот-вот плюнет на все

высокое собрание, а Виктору Михайловичу простым и

строгим взгляд явился, живой с живым и впрямь заговорил.

— Задача архиважная, товарищ Макунько.

— Решим, — заверил волейболист и конькобежец, рабоче-крестьянский свой поправил головной убор, широкий

пояс затянул и вышел, работать, действовать решительно и быстро.

То есть, конечно, не без этого, в начале самом сомнения кое-какие были, просматривалась пара, тройка

версий, но очень скоро ложные отпали и, собственной гордясь

и правотой, и прозорливостью, шел к ордеру на обыск и арест

старлей, спокойно, грамотно и четко разрабатывая связку

Ким-Закс.

Признаться, правда, политикой не пахло, рукой

Моссада, деньгами ЦэРэУ (жаль, но не все же сразу) пьяным,

циничным хулиганством отдавало происшествие (на почве,

сомнений никаких, обиды личной и амбиций непомерных),

хотя, кто знает, кто знает, что может вскрыться,

обнаружиться, когда припертый к стенке уликами Ванюша

Закс сознается во всем, заговорит.
Ведь кто-то надоумил, подал идею чудовищную
кощунственного плана мщения. Слабохарактерный,
безвольный, недалекий Закс (таким лепился образ
Вани со
слов Устрялова, Васильева, его товарищей,
знакомых,
педагогов) сам вряд ли мог решиться, в одиночку
задумать и
злodeяньe гнусности подобной совершить. Кто за
его спиной
стоит, с какою целью манипулирует обиженным,
запутавшимся в жизни, бывшим вторым секретарем
и
президентом диско клуба? Не Ким ли, Игорь
Эдуардович?
Студенческой дружины командир, организатор
секции
спортивной "Черный пояс"? Ах, как хотелось
Виктору
Михайловичу за шкуру взять указанного юношу, за
коим
числилось, похоже, многое — и вымогательство, и
спекуляция,
и вовлеченье в проституцию, да-да, но он исчез. Ни
раньше и
не позже, именно тогда, когда поставил галочку в
блокноте
лейтенант — пора. Исчез, два дня назад из
общезитья вышел,
направился на консультацию по высшей
математике, но по
дороге слился с местностью. Пропал.
Дома, деревья, гаражи, заборы — предметы
пребывали

на своих местах, безропотно путь следования
краткий

обозначали, а Игорь Эдуардович отсутствовал.
Полдня

напрасно сбивая с ритма сердца преподавателей
основ анализа

и матстатистики, гулял метр восемьдесят два в
козырном

чепчике по коридору, знакомился со стендами,
заданья изучал

самостоятельные и методические указания к ним.
Потомок

шелестел листвой, ходил неплотным облачком по
небу,

пичугой серокрылой чирикал в кронах тополей, а
вот лицом к

лицу явиться, предстать не соглашался ни за что.

Досадно, огорчительно, что предпоследний
оперативный пункт не отработав, приходится
переходить к

последнему, важнейшему. Но, может быть, сам
график был

слегка неточен, и эта несущественная, пустяковая
перестановка, корректировка, всего лишь нужная,
необходимая поправка, внесенная, оправданная
самою

жизнью, и служит, в общем-то, лишь
подтверждением

правильности общей линии и стратегического
замысла.

В общем, спеша пожать плоды трудов своих, летел
Виктор Михайлыч Макунько, неумолимо
приближался к

фасаду главному с фронтоном, ложными колоннами
и

башенкой нелепой (дотом-дзотом системы раннего

оповещения то ли ПО, то ли ГО на крыше). А корпус номер

один ЮГИ сиял, то есть густая тень на репутации доселе

безупречной вовсе не мешала зданию институтскому глядеть

на солнце беззаботно, светиться, сверкать слюдой фигурных

рам и даже с рейсовыми, урчащими на площади ЛиаЗАми

иной раз перемигиваться без смущения.

Вот так.

Но осечки, сбоя, на сей раз не должно быть. Сто процентов. Способностью проникнуть в психологию подозреваемого гордиться мог заслуженно товарищ лейтенант. Он сам в 15.10, оставив внешнюю распахнутой, а

внутреннюю чуть прикрыв, через двойные двери в кабинет

профессора и ректора вошел, и тут же пять черных точек

всего-то успела стрелка отсчитать часов стенных, за четверть

часа до назначенного срока, впорхнула излучавшая все, что

положено особе, причастной к делу государственному,

барышня при папке коленкоровой "на подпись" и доложила

носиком напудренным, но внятно:

— Он здесь.

— Давайте, — распорядился лейтенант, хотя, казалось

бы, кивнуть, отмашку дать, уместно было бы,

приличествовало в данной ситуации самому Марлену

Самсоновичу, присутствовавшему, не удалившемуся
гордо и

брезгливо, сидевшему, пусть и не на привычном
месте в

центре под поясным портретом (масло, холст)
высоколобого

калмыка без кепки, но в пальто, однако здесь же,
сбоку у

приставного столика с моделью экскаватора
шагающего, и,

тем не менее, неловкости не ощущая ни малейшей,
шесть раз

почти что член-корреспондент не вздрогнул, не
пошевелился

даже.

Боялся, может быть, услышать:

— А вас я попрошу покинуть помещение.

Но наш уполномоченный был благородным
человеком, офицером, и слово данное умел
держатъ.

Рад стараться! Никак нет! Су-жу Со-му Со-зу!

Но он не пожалел, не пожалел о молчаливом
соглядатае, свидетеле, дышавшем в ухо Ване Заксу.

Ведь запирались стал Госстрах. Признал, что был
обижен, не отрицал, что горькую не в меру пил и
планы

строил мщения, то есть восстановленья
справедливости, был

подведен, поставлен, вроде бы, перед
необходимостью и

неизбежностью чистосердечного признания, но у
черты

последней малодушно замирал, писал, де, письма,
разговоры

вел, интриговал даже, переизбранья, кооптированья

добивался, но гипс не портил, подобных мыслей не имел, все

это оговор, ошибка, недоразумение, враждебных сил

чудовищные козни и ложь нелепая лиц недостойных не то

чтоб в комитете заседать, а просто звание студента гордое, тем

более, доцента, преподавателя носить. Подробности хотите?

Не-а. То есть, конечно, с удовольствием, охотно, про заговор послушать — мы всегда готовы, но прежде Иван

Робертович, голубчик, дорогой, надо бы груз с души тяжелый

снять. Ведь каждый может оступиться, под чуждое влияние

попасть, я понимаю, жизнь сложна... и искупить ошибку

можно, определенно, уж поверьте, только... только одним.

Признанием! Лишь искренность и прямота вам перед Родиной зачтутся.

Так говорите же, черт побери, на что и как вас сионизм подбил.

Э... мэ...

Непониманье, бездна, пропасть, от счастья, от взаимности, приязни в миллиметре. Да...

И вот, когда уж истекал второй тоскливый час бессмысленной, нелепой канители, Марлен

Самсонович,

молчавший, синевший, зеленевший, багровевший по мере

наполнения лоханок и пузыря небезразмерного продуктами

обмена, нетерпенья гневного, вдруг в свою очередь иерархию

взаимной подчиненности нарушил и рывкнул страшной

лекторскою глоткой:

— Встать! Хватит! Отвечай по существу!

И задрожал Иван, и оторвал глаза от тусклой без ухода должного латуни прибора письменного юбилейного, и

посмотрел в лицо сначала рыжего, скуластого перед собой,

затем землистое с набрякшими подушечками, жилочками

справа, и понял, с ясностью трагической увидел, осознал

разлюбят, еще мгновенье и поставят крест, забудут, замкнутся

эти люди русские, к которым он стремится всей душой, всем

сердцем, если сейчас же, наконец-то, он не уступит, немедленно не сделает навстречу шаг... у-уу... у-уу... и слезы

чистые на гладкую столешницу упали и сил их не было

смахнуть.

— Не помню просто... пили мы в тот день с утра...

— А ключ где взяли? — в ответ сейчас же потеплел, смягчился, вселил надежду голос лейтенанта.

— У Кима дубликаты есть... У Игоря... от всех дверей.

ИРКА

А люди исчезали. Да, да, не только начальник дружины добровольной института горного Игорь Эдуардович

Ким, насвистывая на ходу, весь воздухом сквозь губы вышел,

рассеялся в пространстве, утек за горизонт
мелодией задорной
и там затих, пропал и Сима Швец-Царев,
мотивчиком ли
атмосферу уплотняя, или же мыслью полируя древо,
се тайна,
но факт, что не звонил, рукой громилы дверь
сотрясая, не
орал: — "открой, достану так и так", не слал гонцов,
не
прятался в неосвященной арке, короче говоря, в
тревоге
величайшей, в сомнениях и беспокойстве страшном,
уж третьи
сутки держал Малюту Ирку, свою голубку
непутевую.
Весь день подачи заявленья мерзкого ждала
ответчика
истица. Уж полный совершая кругооборот, портвейн
почти
что весь, пламень малиновый из емкости початой,
ноль-семь
литра, глоточек за глоточком в горло проскочил,
сморил,
излился струей горячей после пробуждения, допит
был, слит
опять, ночь наступила — время белую глушить,
сукровицу и
слезы размазывая по лицу, а милый так и не явился
по ряшке
двинуть кулаком, ногами тело белое взбодрить,
неужто в
шутку не вкупился, озлобился, замкнулся, к другой
печаль
унес... так и отъехала к полуночи Ируся одна на
свете

одинешенька, в тарелку, правда, растрепанную,
буйную не

уронила, как в кино, на пионерский пластик щеку
опустив

землистую всего лишь.

Эгм-эгм. Фьюить-фьюить.

А Сима что? Он торговался. Царева пытался
урезонить Швеца.

— Пять тонн, ты че, блин, Вадя... да, где ж, я
столько

бабок наколупаю?

— Ну, три давай, и два десятка синек, — над
младшим

издевался старший, свист со слюной, а смех
клубками дыма из

пасти вылетал.

Хе-хе.

А с потолка свисали зубья, сталактиты, соски
неведомого млекопитающего. Исчерченные,
разукрашенные

когтями твари сдохшей, стояли стены досками
стиральными,

венчал пещерную эстетику полупустого холла
ресторана

высшего разряда "Южбасс" — швейцар, Андрей
Арсентьев,

вышибала, беседовавший через цепку с лихими
девками, что

пересемывали с той стороны дверей стеклянных.

— Ну, ладно, сколько у тебя сейчас найдется,
отфыркав, отсморкавшись, спросил в конце-концов
(все ж

снизошел) братишку брат.

— Есть штука, самое большое.

— Хм...

— Вадя, подожди, есть еще...

Кочерыжка, штучка по руке из сплава легкого,
легчайшего, не то что там "Наган" или "ПМ", в
карман

положишь и не чувствуешь, наоборот, летишь,
поешь, ах, черт

возьми, жеребчик дыбом выбит под бойком, орел на
щечке

ручки деревянной и словом АЭРКРЮМЭН украшен
ствол

короткий. Идешь, тихонечко шуршишь подкладкой и
гладишь,

и трогаешь прохладный спусковой крючок, и
щелкаешь

предохранителем, когда совсем один, а то стоишь и
тихо-тихо,

как слепак, читаешь надписи нерусские
подушечками пальцев.

ПРОПЕРТИ ОФ ЮС ЭЙР ФОРС.

Револьвер. Его привез из экспедиции таежной,
сокровище, награду, за лето, проведенное с
пудовым

рюкзашищем на горбу в компании отпетых,
забубенных

алкашей мужского пола и нимфоманок, понятно,
женского,

посланцев партии геологической Северосибирской,
Сереза

Карсуков, сосед и одноклассник Жабы.

— ... ну, знаешь, самолет... немецкий, у наших не
было

таких... не веришь?... двери, как у "Волги", ну, прямо
так и

открываются чик-чик... и вроде как двигун не
спереди, а

сзади... да, точно говорю, винт весь погнутый, он,
как

обычно... а двигатель, слышь, точно за кабиной...
Привез, а от отца, крутого мужика, забойщика
угрюмой шахты "Красная Заря" в высокой стайке
прятал

Цурканов.

В неделю раз, другой, когда отец на смене был, а
мать

в деревню уезжала с автолавкой, брал, уносил
домой, садился

у окошка в огород, откидывал послушный барабан,
любовно

смазывал, расстреливал, за шифоньером укрываясь,
горку,

трельяж скрипучий, родительское свадебное фото,
и день, и

ночь икавшие уныло ходики, ну а навоевавшись,
нащелкавшись, в тряпицу заворачивал опять и
уносил на

место.

— А где патроны-то?

— Да не было, вот крест, три раза приходил туда,
как

будто белки выели.

И никакие не подходили. Калибр тридцать восьмой,
как много лет спустя понятно стало Жабе, ясно,
девять

миллиметров, такой же точно у "Макарова", и по
длине, что

надо, но фланец, невезуха, держать не хочет, еще
бы, система

то другая совершенно.

И с самолетом, кстати, все стало на свои места.

— Немецкий? Быть не может, откуда здесь? Другое
дело, я, правда, сам не слышал от Витали, но кто-то
говорил,

что парни из его отряда томского однажды
находили

американский, из тех, что через Аляску в войну
перегонялись,

ленд-лизские. Тоже, видно, падали... А что? Они
нам, вроде,

ни к селу, ни к городу, или какие перемены
намечаются?

Подарок Картеру? Мухамеду Али? Тогда найдем
какой

нибудь...

— Смотри, доболобонишься, баклан... — не стал в
подробности вдаваться Жаба. Руку пожал,
напутствовал

комиссара сводной поисковой группы Вадима
Сиволапова, не

осрамись там с партизанскими реликвиями,
свидетельствами

зверств колчаковских и доблести красноармейской
на слете

всесоюзном.

Держи, мол, марку, честь не урони. И все.

Да, скрытен был, немногословен вождь
комсомольский. И осторожен, осторожен, как
животное.

Ведь вся деревня знала, уверенно сказать бы мог
любой жиган чушковский кому досталась пушка,
бесценный

сувенир, а Цура так и не сознался, даже в момент
отчаянный,

когда они с Олегом Сыроватко первыми из переулка
выбежали к пятачку, где в луже крови черной,
освященный

уцелевшей левой фарой, сидел, качаясь, готовясь
только

отойти под лай водителя автобуса паскудный, Муса

Хидиатуллин, а Карсучок, смешной, счастливый пассажир, в пыли у смятого крыла вместе с "ковровцем" (с виду целым, хоть бы хны) уже беззвучно холодел.

— У тебя? — белками поражая круглыми, Сыр проглотил последних пару букв от бега и возбуждения, дыхание теряя.

— Вчера забрал, — своею порцией фонем едва не поперхнулся Жаба, — как раз вчера. И перепрятал в ту же ночь. Эх, надо было лучше. Ну, скажем, в грязные трикухи завернуть, потуже завязать и бросить на дно на самое (да, в жизни Светке никогда не опростать) в дурацкий ящик тот плетеный, что за стиральной машиной. Или в пимы засунуть, с в бумагу стертой пяткой и изведенными совсем на скрип крещенский черными носами, их — в непрозрачный полиэтилен и в самый дальний угол антресолей, коробками заставить с дачной мелочовкой, мешками под картошку, капусту завалить. Разве нашли бы?

А так, первое, что взору Игорька открылось, когда он через фомкой разлученную с проемом дверь вступил в свою поруганную, оскверненную квартиру, была коробка из-под

сандалей чешских "Ботас", валявшаяся в центре
комнаты,
среди разбросанного, жалкого в уродливом,
циничном
беспорядке белья и шмоток ношенных.
Забрали, суки. Гады, говнюки.
Но если... Если бы лежал родимый — фиг-найдешь, в
углу цементом пахнущем на антресолях или на дне
под
ворохом нестиранного с года прошлого тряпья,
разве бы мог,
он, Игорь, не часто, но иногда, когда подкатывала к
сердцу
сгустком черным угрюмость, злоба беспросветная,
на
заседанье собираясь, гантели откатить и из-под
стопки
шерстяных носок извлечь трофей, откинуть
барабан, крутнуть,
вернуть на место, перещелкнуть предохранитель и
бережно в
карман пиджачный внутренний бесценный
всепогодный
отправить талисман?
Никогда.
Никогда, в президиуме сидя, не смог бы он тогда
улыбкой благосклонной согреть, ласкать
болотным
взглядом бородавчатого полоску белую на черепе
оратора,
ложбинку бритую за ухом трепача на идеальном для
выстрела
навскидку расстоянии.
Нет, нет, не мог.
За этот, ни с чем несравнимый, обалденный кайф

прицельной планки воображаемую горизонталь с
пупочкой
мушки совмещать и, задержав дыхание, плавно-
плавно,
мягко, как это только можно сделать в сладком
забытии, сне
наяву, прижать железный спусковой крючок к
защитной
скобке, едва не отдал честь семьи, и репутацию, и
будущее
самое болван, кретин и недоумок Сима Швец-Царев.
Конечно,
загорелся он, едва лишь показали дураку пустую
безделушку
без патронов, Кольт настоящий, и сдался, каких уж
ни были
зачатков разума лишился и согласился, взялся не
только
спрятать у себя заем, но и продать неправильное,
меченное
барахло.
Но, впрочем, хорош и Жаба, в миг долгожданный и
неповторимый, когда он на колени мог поставить
буквально
всю династию от бабки до внука и требовать чего
угодно,
смешной зверюга черноглазый тимуровца, неловко
так
ладошки мявшего под коридорным абажуром
розовым, не
выпровождает вон тычком ручищи волосатой в
спину, нет, в
комнату к себе ведет и долгую имеет с ним беседу.
И ждет потом звоночка телефонного, нечаянной,
быть

может, встречи, надеется, на слово полагается
бродяги,
пообещавшего найти, узнать, куда уйти мог
нефигурировавший в заявлениях,
незафиксированный в
протоколах предмет из легкого металла с
вращающимся на
оси подвижной в окошке неразъемной рамы
барабаном.

Ну-ну.

Вот вам отгадка детская загадки для доброго
десятка

разведенных жизнью по разным кабинетам, но
одинаково

взволнованных товарищей, что даже не открывшись
столь

напряженно искавшим подобие какой-нибудь хоть
логики

умам, позволила, однако, к неудовольствию одних и
вящей

радости других все сохранить, как есть.

Ага.

А пушка? Она, собственно, лежала, валялась по
большей части в бардачке, воняющем дорожной
пылью

отделении рыдвана симкиного, малолитражки
битой, хозяин

коей в отличие от бывшего владельца многолетнего
вещицы

из арсеналов армии воздушной, с течением времени
все

меньше склонен был таиться, прятаться, стесняться,
то есть,

признаться надо, так обнаглел с весенним
пробуждением и

перевозбуждением системы эндокринной, что пару раз уже

случалось, даже тыкал людей совсем малознакомых:

— Он не заряжен, гы-гы-гы, — ствола обрубком в бок.

В общем, возможно, во-время, по-родственному брат Вадим изъясил у младшего, ей Богу, идиота дуру, избавил он

неснаряженного механизма:

— Крючок что надо... Пойдет, давай сюда, — короче, посидели плечом к плечу, поговорили Швец-Царевы о том, о

сем, на вид товарный потерявших пару лет назад сидениях

передних "Жигулей", и по рукам.

Вадим, тюфяк, который проиграет сегодня же хлопущку в карты, вернулся к хлебному вину в кабаке, а Дима

поскакал, помчался сшибать, выпрашивать, набрать во что бы

то ни стало к полудню завтрашнего дня не много и не мало

полтора куска.

Да, господа, не кинулся, речь уснащая поэтическими оборотами, просить руки своей кисули, пинками выразить

судьбе покорность, готовность пуд соли и фунт лиха разделить. "Агдамом" — жидкостью для снятия мигреней,

разглаживанья преждевременных морщин и обесцвечиванья

гемотом, им даже пренебрег, и в результате горемыка Ирка

наедине с народным средством безотказным нахрюкалась

опять, вновь набралась, нарезалась, надралась, а
утром в
таком очнулась ужасе и страхе, что булек пять
всего отмерив
чаю горького, собралась и поехала (впервые за
неделю целую)
в свой институт (и не судебно-медицинскую пройти
там
экспертизу), а лекцию прослушать доцента
Кулешова о
внутреннем строении тела человеческого.
Не помогло.
Неконтролируемое введение в организм продуктов
органического происхождения, разнообразие
сосудов, путей
проникновения и дозировки, последних дней
безумства
настолько радикально размягчили вещество в
коробке девки
черепной, что лапушка, убей, а вспомнить не могла,
она ли,
часов всего лишь тридцать тому назад утехам
предавалась
непотребным под шутившейся неприлично на
небесах луною,
потом дыханием тяжелым туманила патрульным
очи, и,
наконец, писала заявление, в шинели милицейской
у батареи
сидя?
И спросить, проконсультироваться, пусть из
намёков,
обиняков неясных заключить, понять, она ли
требовала в
самом деле:

— Несите в сад, гвардейцы. Хочу в пруду купаться,
как

графиня, — просила ли шершавым языка кресалом о
небо

чиркая:

— Найдите его, мальчики, — качала ли злорадно
головой:

— Он, Сима, Дима Швец-Царев, — определенно,
положительно, ну, просто было не у кого.

Вот если бы любимый обнаружился, ее, заюлю,
ждушим, поджидающим в подъезде с кастетом или
кулаком

хотя бы уж, обернутым для сохранения костяшек
легкоуязвимых мохеровым шарфом, все прояснилось
бы

мгновенно, и контур, и объем, и цвет тот час же
обрело.

А так, увы, в пространстве малонаселенном она
плелась, не в силах отличить горячки белой смутные
знаменья

от омерзительной реальности, лишенной
узнаваемости,

затуманенной продуктами переработки
забродивших ягод. И с

каждым шагом, метром и верстой все гуще, все
безнадежней,

непроглядней становился мрак за белой,
потерявшей

гладкость и преждевременно жирком
подернувшейся спиной

девицы безрассудной.

Господи, ах, кабы об этом исчезновеньи целых суток
из ватного сознания Малюты два шалопа гнусных
знали,

Вадим Царев и друг его, приятель, дежурный
офицер

центрального отдела УВД Андрей Дементьев, не
беспокоясь
ни о чем, точнее, думая лишь как на лицах подлых
серьезность
подобающую сохранить, продать они могли бы
Симе, от
страха оказаться эком готового на все, то самое,
рукою
пьяной идиотки, наклон чередовавшей с правого на
левый
беспорядочно, писаное заявление. Кое, кстати, не
могло
считаться таковым, то есть бумагой официальной,
поступками
и намереньями способной управлять лиц,
облеченных властью
и наделенных полномочиями. Поскольку весельчак
Андрюша,
допросом голой бабы насладившись, детали все
обсмаковав,
не зафиксировал, как того требуют устав и долг,
бумаги
поступление в журнале соответствующем.
Входящий номер
экономив, листочек дважды перегнул и положил в
карман,
под серое х/б упрятал кителька. Ну, а с зарей,
освободившись
и сдав дела, дошел до автомата телефонного
ближайшего и
неожиданным звонком развеял метаболизма
утреннего тягость
врачу команды первой лиги Вадиму Швец-Цареву.
— Вадян, не хочешь ли страсти с сыночка Симы
тысчонок пару на пропой?
Не знали, не ведали затейники, как им судьба

благоволила, и вынуждены были потому мозгами
пораскинуть, поработать, чтобы решить, как
потаскуху

нейтрализовать наверняка.

А потаскуха хотела, то есть ее как приступы
пульпита

частые, желание одолевало, подкатывало
неодолимое скорее

же, скорей, увидеть Симу, в глаза зеленые
взглянуть и

восторжествовать, или же сникнуть, опустить
головку, но от

навязчивого бреда освободиться, отделаться раз и
навсегда.

Звонила ему в среду дважды — не застала, хотела
завалиться в "Льдину", но вновь со счета сбилась,
запуталась в

стаканах и задремала в ванне, уснула, гуманно
вместо

пароходиков пустив в естественной стихии
поплескаться

снова куски-кусочки заглоченной без
предварительной работы

челюстей и языка, рыбешки, сайры тихоокеанской
из банки

металлической.

Ну, а четверг, ах, Господи, сулил ей, наконец,
чудесной встречи долгожданное мгновение, ибо,
благодаря

счастливому стечению обстоятельств, Малюта
лишена была

возможности нажраться раньше времени. Марина
Воропаева,

медичка-однотруппница, ее зазвала после уроков в
гости на

камешки взглянуть. То есть, отвлечься, заглушить тоску и

скоротать часок, другой (покуда влажная уборка превращает

заведенье общепита в вертеп, гнездо порока), бокальчик

сушнячка всего лишь при этом накатив.

— Сережки, два колечка, цепка... — смешно и быстро

тараторила Марина на ходу.

— Длинная? — Малюта, пусть вяло, но демонстрировала

к жизни интерес, как видно, стойкий, и это несмотря на ужасы

и мерзости ее.

— Ага, — тряслись волосики бесцветные в ответ, — до

сюда вот.

— Ты че, все в бигудях и спишь, — на раздраженье нерва

зрительного неадекватно реагировал язык запойной Ирки.

— А разве некрасиво? Мне локоны идут.

Жила Марина рядом с институтом. За рощей кировской березовой, резную русскую листву которой

воспитанники детсадов днем сотрясали криками безумными, а

вечерами, готовясь к бою, молча раздвигали угреватými

носами учащиеся школ и ПТУ района. Два шага, идти минут

пятнадцать.

Итак, сережки, два колечка, цепка. Еще одна невольню

нам открылась слабость, цветок в букете, малинки
чудные

пупырышки в мисочке с черными дробинами
смородины.

Любила девушка округлость пальцев пухленьких
подчеркивать и шеи белизну, ключицы мягкие
изгибы

оттенять продукцией пошлейшей ювелирной.

Причем, имея деньги на изведение, пусть не
литрами,

но все же порчу крови продавщицам магазина
специального

"Кристалл", в котором рядом с бархатом витрин,
сосуществовала кожа португалии постового с "Наганом"

на

шнурке, предпочитала Ирка золотишко брать, ну,
скажем, у

Маринки Воропаевой. Сомнительного, будем
откровенны, да,

происхождения цацки, зато куда дешевле и в
кредит. То есть с

задатком, а то и без него, и с длительной
рассрочкой, это уж

как правило.

Собственно этим-то и заманила Воропаиха.

— Да, ну, не важно даже, мне бы только знать, что
ты

возьмешь. А деньги хоть когда, на той неделе, если
сможешь

половину, а остальное в июне можно даже.

— Лишь бы понравилась тебе, — повторяла она,
ведя

тропинкой рожи городской Малюту к дому. Туда,
где

щеголихи, в крахмальных кружевах березы, сдавали
караул

одетым в робы серо-зеленые б/у, высоким тополям, к
полоске

пыльного, щербатого асфальта с названьем улица
Лазо.

Как-будто ничего живет Маринка, когда к ней не
заявишься — в квартире никого, фатера вроде бы,
что надо,

однако, фиг, гульнуть по-настоящему нельзя, ибо
под вечер

неизменно, на гвоздик свой повесив респиратор и
душ приняв

с казенным мылом, мать Воропаихи приходит,
мастер

режимного завода "Авангард". Сегодня, впрочем,
сечь стрелки

часовой ключущий носик не было нужды:

— А выпросила два дня отгулов и к сестре уехала в
Новокузнецк.

Все удивительно сходилось, одно ложилось к
одному,

и не спешить с деньгами можно, и есть бутылочка

"Ркацители, и мать уехала надолго. Как странно. Не
смущает

гладкость? Или нормально? Ешь да пей, иди, если
ведут?

Короче, видя, что на мозги Ируси полужидкие

рассчитывать нельзя никак, знак ей послало

Провиденье

милостиво простой и грубый. Когдя подружки
проходили под

черными балконами панельного уroda номер 9 по
улице Лазо,

к седьмому направляясь, пальчики детские
разжались и

пакетик полиэтиленовый, наполненный
неаппетитной взвесью

пемоксоли в растворе порошка стирального, с четвертого

(двенадцать метров разгоняться) этажа под ноги Ирке ухнул.

Жах!

И освежил ей юбку, блузку и лицо.

Ой, мама.

Вот тут бы кинуться наверх, заставить стуком, страшными угрозами бандитов малолетних дверь отпереть,

дождаться папы с мамой (или найти их в кухне у соседей), и

страшный закатить скандал, чтоб экзекуции суровой

насладиться справедливостью.

А после, на часы вглянув, товарке бросить:

— Давай уж завтра.

И на автобус, на автобус.

Не тут-то было, секунды даже не дала Марина развинченному организму Ирки для отработки правильной

реакции.

— Ой, это алкашей отродье, ублюдков пара всем известная, — схватила за руку подругу, — брось, бесполезно с

ними связываться, пойдем, пойдем, сейчас, мгновенно

состирнем и выгладим. Ни пятнышка не будет.

Вот так, благое дело, и то во зло себе способно безмозглое создание обратить. В общем, когда бесшумно, за

платяным шкафом от зеркала голубенького хоронясь, два чина

младшего командного состава милиции-заступницы к ней

сбоку подобрались и руку больно заломили,
поставив в позу

малосовместимую с понятием о гордости и чести
девичьей, на

ней, на глупой, не только золото чужое имелось тут
и там, но и

костюмчик новый финский воропаевский.

— Закрыла, закрыла, — взвыла за спиной, согласно
уговору, плану, запричитала, заголосила Маринка,
крыса, тля,

сама каких-то пять минут тому назад устроившая
грандиозную

примерку, — у мамки в комнате закрыла и обокрасть
хотела.

— Ты че, совсем? — шуршало горло скрученной,
униженной Малюты.

— Ой, помогите, помогите, — трясла льняными
кудельками Воропаиха, не реагируя на клокотание и
шелест,

еще бы, ей так по-дружески, доступно эти двое в
форме

объяснили накануне, вчера буквально, что за
торговлю

краденым статья есть в уголовном кодексе двести
восьмая, и

предусматривает в случае, когда в деяньи этом
промысел

возможно усмотреть, срок, детка, от пяти и до семи.

— Воровка мерзкая, паскуда.

Короче, получилось. Получилось, скрывать не
станем.

Не зря топтали травку утро целое, березовым
дышали

ароматом роци два мента, не то посуду собирали,
не то

грибочки на супец.

Итак, уже к одиннадцати часам имел Андрей Дементьев на руках три документа.

А. Гражданки Воропаевой Марины Викторовны заявление о грабеже.

Б. Протокол допроса задержанной с поличным на месте преступления Малюты Ирины Афанасьевны, студентки курса первого мединститута.

и

В. Бумагу, которая свидетельствовала, безусловно, сомненья, мучавшие девушку последние два дня, галлюцинации, виденья, бред, оставили ее, хвала Создателю,

сон разума несчастного (без лишней суеты, поездок, встреч и

неизбежных возлияний) вдруг разрешился абсолютной

ясностью, внезапным осознанием содеянного, глубоким

сожалением и искренним раскаянием.

То есть, пусть снова под диктовку, но рукой тверезой

на сей-то раз Малюта Ира изложила, сиреневой приятной

пастой мотивы, побудившие ее оговорить, оклеветать солдата

срочной службы Диму Швец-Царева.

"... из чувства мести, ревности и с тайным намереньем

шантажировать в дальнейшем его и членов семьи указанного

молодого человека, для получения денежного выкупа..."

Да-с, ловко. Ну, а то, что девушка в течение вечера ему четырежды пыталась съездить по мусалу, значенья, в

общем, не имеет. Ведь не попала же, шалава.

ЖАНИС

А в это самое время свадьба пела и плясала всего
навсего в двухстах пятидесяти километрах к
западу. По

Красному проспекту города Новосибирска, по
главной,

расцветавшей, зеленевшей артерии его, законам
физиологии

нормальной вопреки плыли веселые и шумные
отбросы

общества, участники вокально-инструментального
ансамбля

популярного "Алые", ну, безусловно, "Паруса".

Передовой

отряд эстрады молодежной изрядно укрепленный
поклонницами из числа аборигенов, горланя, па
выделявая

несусветные, на полквартила растянувшись, все ж
продвигался, тем не менее, к заветной цели,
гостинице на

берегу реки великой "Обь".

Тон в авангарде задавал блондин наружности
разгульной, но приятной, двух барышень за шейки с
нежностью придерживая (беленькая справа,
черненькая

слева), он хрипом удалым вечерний воздух
волновал,

подмигивать при этом успевая и той, что семенила,
и той, что

шла вприпрыжку:

— Всевышний, купи мне

Газ двадцать четыре,

Все на колесах,

А я пилю пехом.

— И ножки, — подхватывал сзади еще один,
лохматый,
живописный, отставший малость с дамой, пусть
одной, но
боевой наредкость, умудрившейся уж две из трех
возможных
молний кавалеру расстегнуть:
— И ножки устали, и нет больше сил,
Я жду в эту среду
Большой черный "Зил".
Гуляли добры молодцы, гудели, напитки по усам
текли. Кричали:
— Горько, — по случаю, не больше и не меньше,
бракосочетания руководителя прославленного
коллектива,
композитора и пианиста, заряд несущего бодрящий
оптимизма
социального и в жизни, и на сцене, Самылина
Володи. Да,
правильно, красавца белокурого с физиономией не
первой
свежести.
Буквально в день отлета, за пару часиков всего
лишь
до первой дозы, полфлакона этого турне сибирско
дальневосточного Владимир распростился с жизнью
холостой, то есть вступил в законный брак с
буфетчицей из
клуба Трубногo завода, смешной малышкой
(имевшей, тем не
менее, необычайно развитые выпуклости
млекопитающего
теплокровного), что незаметно за последние
полгода,
колбаской укрепляя силы музыкантов между
репетициями,

сменили джинсики сорокчетвертого, на юбочку сорокшестого,
ее на платье сорок восьмого, а к лету (о-го-го) уже

строчился сарафан совсем невероятного размера.
Короче, записались, поцеловались, обнялись и полетели — Аня к маме, простынки на пеленки рвать, а Вова

гастролировать, медовый месяц, как никак.
Ля-ля-ля-аа! Ля-ля-ля-аа!
На славу отдыхал народ. Два гитариста, басист с косицей, барабанщик в кепке, саксофонист, трубач, три

вокалиста и прочий персонал, включая двух рабочих сцены

Аркашу Выхина и Ленчика Зухны.
Жив! В пьяной драке нож хулигана жизнь юную не оборвал после того, как краля подлая хмельная над чувствами

поэта надругалась, ему в лицо швырнув куплетик гнусный.

Но, впрочем, кровь все же пролилась. Глаза залила теплая водителя второго таксопарка города Южносибирска.

Не понял широколобый, с кем жизнь свела.
— Заправишь? — спросил его, сидевшего, кутившего, о

чем-то говорившего с таким же чебуреками затаренным

козлом, нелепый псих с трясущимися синими губищами:

— А шел бы ты... — ответил коротко, не поворачивая чана, шеф.

— Вот деньги, — пытался Леня в приоткрытое окошко

сунуть последнюю несвежую купюру.

— Не понял? На хер, парень, на хер...
И тут соединилось все, и день, и жизнь, и мелкие обиды, и большие, и воздух — божественный ночной эфир
сменил внезапно состоянье агрегатное, стал жидким, липким,
едким, вязким и, задыхаясь, Зух согнулся у облупившегося
булочной угла, поднял бесхозный, от дома отвалившийся
обломок кирпича и с ловкостью необычайной для художника,
мечтателя, идеалиста, пустил кусок шершавого в синь
лобовую бурчавшей мирно "Волги".
Хрясь! Шварк!
— Ублюдок! Ты ж убил, подонок, человека.
— Поймаю! Все равно поймаю! Стой!
Попробуй. Двор, площадка детская, щель между гаражами и будкой трансформаторной, скрип гравия,
скамейки, вросшие в песок, вонючая и длинная (исписанные
стены) подворотня овощного, проспект Советский — поперек,
склад тары ломаной мясного и мусорные баки "Жаворонка",
вновь гаражи, ограда школьной спортплощадки, кустов
колючих хруст, дерьмо собачье, крышки погребов, сруб,
государством охраняемый, опять свет — улица, бульвар Героя
Революции, стрелю в тень общежития "Азота", дыра в

железных прутьях яслей "Восход", сырой суглинок
вдоль

свежевырытой траншеи, карагачей полночный
шорох — все.

Дом, подъезд, этаж четвертый, дверь с цифрой 36,
едва

рябущей под всех цветов бесчисленными слоями
краски.

Зухны дышал. Он втягивал в себя весь кислород из
кухни, ванной, из-под двери соседской, из темноты
отцовской

комнаты незапертой, весь-весь до капельки вбирал
последней

и, выпустив, молекулам истерзанным в прихожей
даже

разбежаться не давал, вновь втягивал, открытым
ртом хватал,

хватал...

И вдруг остановился, замер, рука по стенке
чиркнула

и сполз на пыльный половичок...

Ш-шшшшш.

Но, нет, не умер, не умер, пороком врожденным
сердца от армии избавленный искатель истины и
правды.

Через полчаса уже стоял у изголовья спящего в
носках и

брюках на кровати неразобранной отца и
выворачивал

карманы родительского пиджачка. Семнадцать
рубчиков с

копейками (улов довольно скромный) — все, что
осталось от

вчерашнего аванса. Своя десятка, немного серебра
тридцатник, в общем.

Пошел к себе. Взял сумку польскую потертую с

ремнем через плечо, а положить в нутро клеенчатое нечего.

Две пленки, прошлогодняя готовая, и новая (вторая копия),

вокал пока что не записан. Гитара у Димона, распятие продал.

Да, продал, вспомнил, единственное нищего жилища

украшение. Подарок урки.

— Держи, мля, тезка. Тебе. Молиться станешь вспомни обо мне.

А Леня и не собирался, и не умел. Просто держал на самом видном месте, между кроватью и столом, войдешь и

первое, что видишь, крест, на зло их комсомольским флагам,

грамотам, значкам. Просто пусть знают, я не ваш.

Да, продал. Продаю, но не отдал. И не отдаст.

На, выкуси, приятель. Ищи-свищи.

Еще он взял на кухне полбуханки хлеба и пару луковиц соседских (в мешке их много — не заметят).

Записок

не писал и не присаживался на дорожку, дверь щелкнула и

радужным пульсирующим нимбом в подъезде лампа встретила

сороковаттная.

А на улице все повторилось. Игла пронзила, прошила

почку, легкое, стальная беспощадная, и носик высунула у

ключицы. И чем дышал Зух целый час? Как насекомое,

наверно, пупырышками, бугорками, порами, к скамейке

пригвозженный под желтыми плафонами, шарами

сливочными Советского проспекта.
Ау, братва! Вон он, сечешь, у клуба, там, разлегся,
развалился на левой, сука, видишь? Ату, его! Мочи
ботинками
— рант пластиковый, ключами гаечными — зуб
железный,
белобилетника, косящего, шлангующего. Получи!
Никто не тронул. Милиция проехала разок, но
озабоченная чем-то совсем другим, не тормознула
даже. А
огоньки зеленые шныряли по хлебному проспекту
Ленина,
похоже. Не посылали граждан, жаждущих забыться,
а спрос
насущный удовлетворяли, и между делом, между
прочим,
ловили диспетчера ночного ды-ды-ды,
докладывавшего
сколько понадобилось швов, чтобы стянуть в рубец
багровый
раскроенную камнем шкуру.
— Да как он выглядел, скажи хоть?
— Ох, не запомнил Шура, высокий, говорит, и волос
длинный.
— Ну их полгорода таких.
В конце-концов поднялся и пошел, доплелся,
дотащился до голубого на заре автовокзала. В пять
тридцать,
раньше всех, машина уходила в Энск, на ней, закрыв
глаза, и
ноги подогнув, словно счастливый, не ведающий
горя
эмбрион, Зух и уехал.
И словно вырвался, два приступа за вечер, таких,
что

раз в три года только до сих пор напоминали,
торопись, твой
век недолог, а путь длинен, иди, иди, иди, это
предупреждение, последнее, но ясное, беги. И
убежал, ноги
унес, спас душу и брэнное вместилище ее, четыре с
лишним
часа летел над гладью, битумом политой, словно
обрел
счастливо и заслуженно ту линию, потерянную в
океане на
пути от берега до берега Великого, подхватил и
снова вел на
Запад, снова вел, пространство рассекая,
вспарывая, и музыке
внимал, что заполняла пустоту. Соединяя
несоединимое, два
голоса стелились за спиной — Бобби МакГи и Мегги
МакГилл,
слов только, как ни старался, и этой песни не
расслышал.
И все. Четыре часика всего лишь чистоты и ясности
во чреве автобуса, в позе плода. Но, не дано было
родиться
снова, распалась нить, затихла песня давным-давно,
давным
давно, ну, а судьба жестока к живущим грезами, ее
железной
воле вопреки.
— Зух! Леня! — сомнамбулу по Красному проспекту
кочувавшую окликнул кто-то, лег тенью, путь
загородил и
ящик пива, динь-динь-динь, поставил под ноги.
— Аркаша... — разъехался, распался слабый кокон, и
шнобель Ленин явился на посмешище, открылся
белу свету.

— Вот встреча! Надо же... — пред беглецом с поклажей

легкой стоял Аркадий Выхин в куртке тертой, таких же дудках

и тенниске с цветочком лилии — три лепестка. Аркаша-лабух,

распущенной всем в назиданье группы школьной, уехавший

после десятого к отцу в Москву.

— А? Я? Нет... так... проездом... а ты?

— Вот с ними, с дядькой разъезжаю, — кивнул Аркадий

головой. Зух бросил взгляд в указанную сторону и вычленил

из кутерьмы весенней безошибочно автобус быстроходный,

сработанный на берегах Дуная (но не на совесть, как

выяснится вскоре, увы и ах). "Икарус", но не красно-белый

межгортрансовский, а сине-голубой БММТ "Спутник" на сей

раз. Нахальный люд в одеждах праздничных, кучкуясь у двери

открытой, напиток пузырящийся вливал в гогочущие глотки.

— "Алые Паруса".

— Играешь с ними?

— Нет, аппарат ворочаю, отец пристроил...

Тут бы расстаться:

— Ну, давай, — отплыть, отчалить, окунуться снова в

души таинственной глубины, чтоб среди водорослей и рыб

понять течений, сумрака и света деликатную природу и

смыслом преисполнившись, явиться, вынырнуть
спокойным,

цельным, неприступным.

Я утром проснулся

И понял, что умер,

Что нет меня больше

И мне хорошо.

Не вышло... А, может быть, кто знает, как раз и

получилось, и Проведение тут вмешалось, чтоб он

не

потерялся на дороге, ведущий в никуда, не
обнаружил пустоту

и впереди, и сзади, а навсегда остался здесь с
надеждой

чудной, верой в существование мечты.

Так или иначе, четыре с небольшим часа было
отпущено ему.

— Никак, увидел земляка? — племяннику Владимир
подмигнул, лишая на ходу гигиенического целофана
"Столичных" пачку.

— Дядя Володя, это... ну, помните... я пленку вам
крутил... вы еще говорили, кое-что взять можно
было бы...

попробовать. Ну, помните. Она Мосфильм?

— А, ну, ну, ну... я партизан, я шпион...

Итак, первая бутылка напитка слабогазированного
была опростана прямо на месте, благо у ног
услужливо и

терпеливо конца беседы дожидался ящик из
голубого

пластика.

А следующая уже в автобусе.

"Кавказ" рванули после того, как заявление Зух
написал зелеными чернилами на беленьком
листочке из

блокнота администратора "прошу принять меня..."

— Давай, счас месячишко покантуешься рабочим, а дальше видно будет.

К вечернему концерту уже такие смеси сердце Лени омывали, что в грим-уборной он гитару взял чужую и запел, и

странным образом сей перфоманс подействовал на банду,

слаженно и без забот привыкшую шагать от первого аккорда к

третьему, оп, кругом марш:

Дружба — огромный материк,

Там молодость обрел старик

И к юноше там вновь и вновь

Приходит чистая любовь.

Вообразите. Один заставил палочками буковыми

жить, волноваться крышку черную от ящика дорожного,

другой сестрицы басовые толстые светиться, вздрагивать и

замирать, а третий поддакнул, подтянул, дыханьем обогрев

стальные лепестки губной гармошки:

Я утром проснулся,

Я утром проснулся,

Я утром проснулся

И понял, что умер.

И Леню хлопали и по плечам, и по спине, и кто-то

волосы ему взъерошил, а после трубач схохмил удачно, и снял

несвойственный и даже вредный коллективу чересчур

серьезный стеб. Короче, потянулись со смешками за кулисы.

— Пора, народ, — в общем, никто не видел и не слышал,

как колобком пытался выкатиться, выпрыгнуть в
стульчак

немытый плюхнуться желудок, да горло рваное
мешало.

Пам! Пу-бу-бу, пу-бу-бу, пу-бу-бу! Па! Та-та!

И отключился. Вернее, себя запомнил у изъеденного
серебра общественного зеркала, над головой
малиновый

излом уж электричество не силится до желтизны
шестидесятисвечевой раззадорить, раскалить, а на
лице, на

коже застыли капельки воды, не смачивая серую, по
голубой

не растекаясь.

И нет меня больше,

И нет меня больше,

И нет меня больше,

И мне хорошо.

А ночью снова жрал, давился, а заглотив, плевал
угрюмо, цедил слюну паучью и слушал лажовщиков,
старавшихся известным и безотказным способом
избавиться

от странных и ненужных чувств, которые он, Леня,
своим ад

либитумом предконцерным навеял невзначай. Ну, то
есть с

удалью, кою не занимать, похабству предавались
сентиментальному. Полузабытые мелодии безумной
юности

своей насильовали грубо, скопом, свистя и улюлюкая,
словами

повседневными, тупыми, пошлыми.

Мы идем, блин, шагаем в коммунизм,

Задом наперед, иеллоу субмарин.

Днем, когда у стойки с гвоздями медными
тоскливые

и тягостные сумерки пивком прохладным разогнал,
томившее

и мучавшее полночи и полутра нечто неосознанное
внезапно

понятным, ясным побуждением оказалось.

Уйти! На что ты соблазнился, дурень? На что свой
шанс, свой зов сменял? Уйти! Уйти от них, уйти от
всех.

Сегодня... Обязательно!

Продолжить путь. Мелодию движения опять
поймать... Еще немного выпить, съесть, что это?
желе из

клюквы, стрельнуть десятку и привет. Ту-тууу!

Всевышний, купи мне

Крутую педаль.

Шумел камыш, деревья гнулись, шалман катил по
Красному проспекту, и пелось, и плясалось, Боже
мой, как

никогда, ах, может быть неплохо, что рвутся у
автобусов

ремни какие-то резиновые, быть может в этом есть
какой-то

смысл.

У всех аппарат есть,

А я на бобах,

Пока в сердце джаз, а в душе рок'н'ролл,

Пошли мне за верность новый Ле Пол.

— Лень! Ну, че ты там отстал? — Аркаша обернулся.

План забирал, прикалывала кочубеевка, тень
школьного

товарища куда-то утекала, рассыпалась бисером и
капельками

ртути впитывалась в рябой ночной асфальт.

— Да дай же ты отлить спокойно человеку, — обнял
и за

собой увлек Вадим Шипицын, клавишник с
брюшком, — вишь

мучается полчаса уже, бедняга, угол ищет,
закоулок. Догонит.

Фиг вам! Фиг вам! Вот только бы немного воздуха,
совсем чуть-чуть... железо, отпусти, три раза за два
дня, ведь

это ж десять лет моих, зачем же сразу,
несправедливо так...

обидно... шик-шик-шик... немного, горсть всего
лишь дай в

ладошку наскрести внезапно заиндевевшей ночной
мути,

вдохнуть разок... Свет, больше ничего, небесный,
ослепительный... И в мягкую землю лбом вмял Зух
мелкую

траву, и сумку судорожно к животу прижал.

Патрульные, найдя его под утро с распятием,
приклеенным к пупу, беззлобно ухмыляясь,
посочувствовали:

— Что, не помог?

— Смотри, вроде бы тощий, а тяжелый.

Володя же Самылин не стеснялся. Он,
предварительно

у дам (у левой и у правой) прощенья попросив,
извлек свирель

из закромов вельветовых и стал, под визг девиц, и
хлопать

успевавших, и разбирать вслух буквы непривычные,
писать

парной струей на пыльном тротуаре.

— Жа... нис...

Ой, мама!

— Жоп... лин...

ВЕЧЕР

Что ж, дискотека удалась.

Кузнец сиял, светился и даже пах шампунем
"Яблоневого цвет" и туалетной водой "О'Жен". Ему
пожала

руку дама телевизионная.

— Не ожидала, скажу вам честно, такого
профессионализма не ожидала, ну, хоть сейчас
записывай,

фантастика, а девушка, помощник-ассистент,
соседка, даже

осталась на второе отделение.

Осталась полномочным представителем Фортуны,
удачи, дома разумных, деловитых граждан
посещающей не в

расслабляющем как разум, так и чувства, костюме
неприличного фасона, а в строгом синем с
пуговками

медными, зовущем к собранности,
самоограниченности и
самоусовершенствованию.

— Будь готов!

— Всегда пожалуйста!

Осталась. Украсила танцульки Валера Додд.

Во-первых, Кира попросила, а, во-вторых, идти
девице, в общем, оказалось некуда. Спешить,
бежать и даже

ехать.

— Об этом вся Культура говорит.

— Давно?

— Да, уж недели две, наверное.

Конечно, можно было бы и в "Льдинку" закатиться и
весело отпраздновать событие историческое. Раз
вся Культура

ее замуж выдает, грех не отметить это дело.

Девичник

полагается невесте, ну, а затем мальчишник, дабы

впоследствии не горевать о том, что упустила вот, когда

могла. Но на винте пройти по залу и на колени плюхнуться,

пусть рот разинет Иванов какой-нибудь, не поздно никогда.

Лишь бы напитки по фужерам разливали и без, и с пузырьками.

Но если... Хотя, какие могут быть сомненья...

— И что же?

— Ничего, он женится, а мать на скорой в областную увезли.

Тогда есть вариант другой. Пусть не на первом, на втором, на третьем, не завтра, ну, так послезавтра все же

автобусе за три с полтиной туда уехать и взять.

Взять

напоследок эти глазища синие, ресницы золотистые, ну, а

оставшееся, ради Бога, берите, пользуйтесь, я ведь не жадная.

— Привет, Алешка! Не горюй!

Или вообще не надо ничего, ведь понимала, разве нет,

еще тогда, когда обветренные губы милого царапали лицо под

фонарями ледяными, это конец. И продолженья ждать не надо.

А дивные слова, объятья, руки? Были, и все. Приятное

воспоминание, не больше.

А если чувствам вопреки во что-то верила, надеялась

и снам значенье придавала, приметы собирала глупые, так ха

ха-ха. Чудес на свете не бывает. Есть, ты же сдавать
ходила

биологию, ты вспомни, гады. Подонки просто и
гнусные

подонки.

— Вы знаете, Валера, я, когда утром в девять
заезжала

на студию с Курбатовым, да-да, имела для вас
немаловажный

разговор, — докладывала Кира, в кисельных
сумерках дворами

неопрятными весенними, вдоль гаражей, песочниц и
заборов

путь держа, к общагам приближаясь горного.

Ах, сердце застучало, заволновалось неразумное.

Неужто?

— Он приглашение показал мне на ленинградский
семинар редакторов и режиссеров программ для
молодежи.

И только-то? Не всей значкой поделился, Кира

Венедиктовна, и мне оставил кое-что, дрянь сальная
и потная.

— Неделя с третьего июня в Петергофе. Ну я,
конечно,

отказалась, кому и как Андрея я сейчас оставлю? А
он тогда

сказал, что вас пошлет и сам, возможно, совместит
приятное с

полезным.

— Так и сказал?

— Ну, да.

Ублюдки хитрые и очень хитрые, не знающие
только,

как же лучше, так сразу проглотить или сначала
удавить для

верности. Идут, шагают стройными рядами, а между
ними

мелькнет вдруг, попадетя смешной лопух с
ресницами

длиннющими наивными, как лучики у солнца
детского. А

жизнь? Не в том ли ее дурацкий смысл, чтобы
козлов,

мерзавцев и скотов дурачить каждый день,
обманывать и

изводить, а этих вот, смешных кулем, доверчивых,
нелепых

простаков прощать. Смотреть, смотреть в глаза
повинные и за

шершавый нос, ам, укусить.

— Валерка, больно. Ты совсем с ума сошла?

— Ага.

Такое утешенье сумасбродное, полушалъное,
полублаженное, принес ей вечер, чему
способствовал, похоже,

бокал шампанского, "ну, за удачу", что был осушен
под

строгими пиджачными бортами членов политбюро
ЦК,

взиравших пусть сурово, но покровительственно, по-
отечески,

на всю эту антрактную возню, устроенную
дискотечниками в

специально отданном сегодня им для совещаний,
переодеваний и закулисной суеты общажном
красном уголке.

И огоньки, конечно, огоньки, гипнотизировавшие,
жучки

тропические, самоеды сбесившиеся, спятившие
окончательно

от ритма экваториальной церемонии заглатывания
зеленым

желтого, а желтым красного.

— Вас можно пригласить?

— Меня? Я на работе не танцую.

— А после?

— После будет видно, — и улыбнулась, значит
можно

клинья еще позабывать. Сложиться может. Может,
может,

может. Срастись, как все сегодня, словно по заказу,
у Толи

Громова. В отсутствии Потомка и Госстраха из
принеси-подай

произведенного вдруг махом (с пренебреженьем
полным к

канители сложной слияния и рассыпанья звезд на
множащихся

линиях просветов) в распорядители,
парадоустроители,

дворецкие с правами комиссаров ВЧК. По залу
центнер

розовый перемещая, он успевал и тут слюной
побрызгать, и

там белков эмалью поиграть, здесь чью-то маму
приласкать,

там папиросы изжевать мундштук картонный. В
общем,

моментом пользовался, был жаден, груб, и сзади
заходил, и

спереди, спешил, словно предчувствовал, недолго
будет

барабанить тапер по клавишам, а повторенья можно
и не

дождаться вовсе.

И в самом деле, интуиция широкогузого двуногого,

присущая животным способность брюхом ощущать, воспринимать и делать выводы, не подвела Толяна Громова.

Удача сунет ему кукиш в пятак уже сегодня. Изгадит, смажет

концовку праздника внеплановый ущерб имуществу казенному. Госстрах вернется, притопают к разбору самому

полетов и учинит ему допрос, как главному виновнику, козлу,

не в свои сани севшему:

— Я тебя выведу, мешок, на воду чистую, ты мне все скажешь, — будет дышать в моргающие плоски

Ваня парами

неразбавленного, пугая так:

— Ты, сука, знаешь, для примера, где я был сейчас?

Тебе сказать, блин, кто мне руку пожимал?

Потомок, Игорь Ким, не пара, нет, расхристанному

Заксу, под вечер завтра явится беззвучно, тихо, мирно войдет,

кивнет тому, другому, как человек за сайкой выбегавший в

ботиночках на босу ногу, своим ключом дверь ванькину

тристадвадцатую откроет, с кровати сдернет по-хозяйски

бухого, красноглазого Госстраха, даст устояться, укрепиться

чурбану, ну, а затем ногой залепит в пах бедняге, а кулаком

холодным отверзнет хляби носовые.

Такие вот причуды вещества астрального.

Просыпалось, Бог знает от чего, на голову ничтожнейшего

толстяка, раз — эполетов распушились бороды, оп

аксельбантов заплелись усы, чу — золотом оброс
околыш.

Красота. А у старлея невезучего т. Макунько
последние

пятиконечные чуть было с плеч не сдуло,
малюсенькие,

махонькие, и те едва не сжались до черных меточек
сиротских

от инструмента грубого сапожного.

Увы, попутал бес сотрудинок отдела номер...ять из
Управленья областного. Один, Виктор-железный-
Макунько,

ладони возложив на копчик, прямой и строгий,
прохаживался,

наблюдая, как жаркими словами чистосердечного
признания

бумажку делает бесценной, склонившийся над
приставным

столом Ванюша Закс. А два других А...ский и Бл...ов,
буквально двери в двери, наискосок по коридору,
нельзя, нет,

невозможно было услышать через панели
деревянные и

кладку многослойную шуршанье шарика, и уж
подавно, в

отсутствии мельчайшей щелки, дырки, трещинки
победный

запах "Шипра" уловить, и тем не менее, однако,
сидели друг

напротив друга и ухмылялись, отвратительно, не по
товарищески, гадко.

Их вызвал первыми к себе с докладом полковник

П..т..иков. Виктора же Макунько последним. Всего
лишь

неделек парочку, другую, отсутствовал, на водах
находился

невидимого фронта и тыла генерал, спецрейсом
возвратился,
на службу с поля летного приехал, и надо же, такой
на
вверенном ему участке детский сад нашел, такое
лето
пионерское в разгаре, что хоть сейчас всю троицу
под
трибунал.

То есть, конечно, вина А...скова и Бл...ова при всех
неоспоримых достижениях очевидна,
непростительна, но
глупость и, главное, ретивость молодого Макунько
просто уму
непостижима.

Да, Прохор сделал свое дело. Тот, на кого надежды
возлагались, не подвел, то есть подвел... вернее... в
общем...

— Ну, тут заранее соломку не подстелишь, никто не
знает, где объект сорвется, но вы-то почему в
известность,

пускай постфактум, но не поставили курирующего?
Он что,
второе дело, параллельное открыл?

Открыл, завел, увы, и даже двигаясь путем кривым,
неверным, ложным изначально, однако, вышел,
вопреки

всему, на человека, подстроившего,
организовавшего

незабываемое чудо, явление очей, белым
превращенье

гипсовых пустых в живой искрой флуоресцентной,
хулиганской, играющие глазки.

На Игоря, дружины комсомольской командира,
Кима,

имен, наверное, еще пяток различной звучности
имевшего,
помимо собственного. Но, если Проша — милое
христианское,
он получил зубастой подписи построив частокол под
обязательством скрывать от окружающих цель
своей жизни и
тайный смысл деяний, помимо своей воли, так
сказать, как
штамп на фотографию чернилами какие были. То
множество
других, степных, шаманских, варварских, буквально
выпросил, сам заработал, заслужил дурной
привычкой
рассуждать (вес лишний взяв, соотношенье жидкой
и твердой
фракций не рассчитав корректно) о том, куда
восходит,
упрется линия, ветвь древа генеалогического, коль
от сучка к
сучку из млеющего в развитом социализме
Южносибирска до
утопающего в благоухании чучхе Пхеньяна зеленым,
полужидким, волосатым доползти.
— И кто ты ему будешь, Ким?
— Племянником, родным племянником, не веришь,
что
ли?
Ага, отсюда и нелюбимые им — Родственник,
Потомок,
и то, что нравилось, ласкало слух, лишенное
неблагозвучного
Ченгиза, короткое и уважительное, Хан.
Так вот, именно ему, Игорю Эдуардовичу и было
предложено сына приемного Сергея
Константиновича

Шевелева, писателя, правдоискателя, сибирской
всемирной

знаменитости мучителя, болвана и шалопая Вадика
дожать. И

он с заданьем справился отменно.

Да, уже трижды только за две последние недели,
вместо того, чтобы французского интервьюера
деньги не

считая, кликушествовать, бородой шурша о дырочки
шумовки

— трубки телефонной, прославленный творец
романов, пьес,

повестей, рассказов, смилив мужицкую гордыню,
свиданья

добивался со следователем, обыкновенным
капитаном

А...ским. А тот его не принимал, ждал распоряжений
и ЦУ,

был занят, в общем.

При всем при том, что времена иные знавать
случалось Шевелеву. Борису Тимофеевичу
"уважаемому"

писал размашистые дарственные на титульных
листах. Ну, и

его не забывал Владыко, товарищ первый
секретарь, чему

свидетельством красивый орден многоугольный
"Дружбы

Народов" к пятидесятилетию прозаика. Собственно,
и теперь

помнил, и операцию санкционировал, одобрил в
надежде, что

удастся возратить народу его гордость, из цепких
лап врагов,

пока не поздно, вырвать самобытнейший талант.

Нет, не верил, не верил Б.Т. и все тут, что
щелкоперы
московские и заграничные могли носами длинными
и
острыми изрыть и источить, испортить сердцевину
кедра
сибирского, могучего.

— Как говорил? Отца замучили, теперь могилу под
воду хотят запрятать? Блажь. Пьян был? Как
обычно. И кто

ему всю эту шушеру с магнитофонами под коньячок
приводит? Сын? Пасынок? Ну, ну, вот с ним и
разберитесь,

молодым, да ранним. А Шевелеву дачу надо будет
дать у нас в

поселке за запреткой, пусть там работает у леса,
без водки и

без телефона.

Итак, приказ есть приказ.

И Игорь Ким с очередной клавиой длинноногой
явился

вдруг без приглашенья на премьеру межвузовского
театра

студии "Антре", спектакль внезапно посетил с
названием

"Лошадь Пржевальского", где в роли главной
блеснул,

приятно удивил бывший студент ЮГИ, Потомка
одногогруппник, а ныне исполнительского отделения
Культуры

слушатель Вадюха Шевелев.

— Ну, дал. Ты дал, братишка, поздравляю. А это
Настя,

кстати. Хотела очень с тобою познакомиться.

Короче, встретились, о времени былом веселом

поговорили, решили в "Льдину" заглянуть, там
после

"Огненного Шара" "Советского сухого" зацепили пару
и

закатили к настиной подружке Томке на огонек
зеленый

абажура лейпцигского. Ну, то есть, удалась
импровизация.

Ким утречком исподнее нашел, а Шевелю так и
пришлось

отчалить, плоть нежную незагорелую царапая
изнанкой

грубого денима.

Нехило начали. И кончили отлично, заметим тут же.

То что казалось будущим далеким, мечтой, ради
которой

стоило из кожи лезть, ломать комедию, волшебник
Родственник приблизил, махом, за две недели,
десять дней

буквально, сделал явью. Одним движением руки:

— Да ну, слабо, на это даже у тебя кишка тонка,

братуха, — вознес паяца и фигляра Вадьку
Шевелева к зениту

сладостному славы, известности всеобщей ореолом
озарил. И

разницы особой, право нет, в каком уж качестве,
актера или

же художника, лишь бы вкусить, отведать,
насладиться

незабываемым моментом.

Увы, не вышло, слава — да, но безымянность при
этом

была важнейшим правилом игры. И не
предупредили, никто

заранее ни слова не сказал. Ээ-эх. Такое собирался

итальяшкам рассказать, такое наплести, проездом в Ригу на

Весенных с кассетой заскочив очередной, но вот не получилось. Два симпатичных человека с усами одинаковыми

подошли на улице и попросили вежливо помочь им завести

машину.

— Ноу проблем.

Свернули за угол, еще один комплект растительности

командирской навстречу двинулся.

— Садитесь, Вадим Сергеевич, садитесь, нам по пути.

А утро солнечное с ветерком. А вечер, вечер дня предыдущего — сама любовь и нежность. Весна. Бутылка белой

и шампанского огнетушитель в холщовой сумке с красно

белым словом "Познань", но, черт, накладка, вернулись

предки томкины, к Насте нельзя, у Кима в общежитии — в лом всем.

— Послушай, Игореха, — пришла идея гениальная в голову бывшему СТЭМовцу, — а у тебя ключи, наверно, есть от

Ленинской?

— Наверно есть.

— Так что ж мы тут стоим?

Ага. Терпение, немного выдержки и вот вам результат. Не стал Потомок мелочиться, ловить на анекдотах

Шевеля или записывать тайком (на спрятанный под девичьим

диваном магнитофон) как дурачок (с немалым мастерством, заметим) копирует мычание бумагу доклада прожевать уж

неспособного четырежды героя. Зачем? Спокойный, вдумчивый мичуринец все созревания стадии неторопливо

зафиксировал, дождался спелости товарной и чик-чик, срезал.

Одно движение руки.

— Да ты и не дотянешься дотуда, морда пьяная.

— На спор достану? Эй, Настя, разнимай.

Велели сделать рыжего и Ким его не упустил.

Двести

шестая чистая, "то есть действия, отличающиеся по своему

содержанию исключительным цинизмом и особой дерзостью... — наказываются лишением свободы на срок от

одного до пяти лет".

Ха!

И сам не засветился, через спортклуб привел и той же

черной лестницей (сначала на четвертый по боковой, там

коридором до малого спортзала, две двери и вас встречают

ароматами апрельскими цветущие зады родного института)

всю гопку, шайку-лейку, вывел.

Силен.

Ну, а потом общага, дружину под ружье и на полночи

шурум-бурум до потолка, чтоб никаких сомнений не возникало, а чем же занимался командир отряда

комсомольско-молодежного в тот злополучный вечер? Чем?

Чем? Боролся за здоровый быт, конечно.

А глазки? Зенки как живые получились, с огоньком, только не полемойку к месту пригвоздили, не тете Маше с

тряпкой подмигнули, увы, стал строить бюст голубенькие

собранию ежегодному отличников и именных стипендиатов.

Ох, засмущал, защекотал, игрун проклятый.

Такое совпадение. Да, без шума лишнего было бы лучше, но с другой стороны, нет худа без э... м... ну, в общем,

не любили, приходится сознаться, не любили, товарищи по

ратному труду старлея Макунько.

Но, впрочем, все это домыслы, догадки, пища для размышленья (жеванья и поплевывания) полковнику П..т..икову. Кто виноват, был ли тут умысел или досадный,

обидный, запаркой и горячкой объяснимый недосмотр? Да,

это с одной стороны. С другой же, сомненья возникали по

поводу профессиональной попросту пригодности и соответствия высокой должности и званию, такие, вроде бы,

надежды подававшего т. Макунько. Ну, в самом деле, нужен

ли, не то чтоб в Управленьи областном, вообще, так сказать, в

органах, болван, способный полагать, будто бы нечто, навроде

озаренья или прозренья может случаться, иметь место,

происходить с кем-либо, когда-либо, без
надлежащей санкции

тех, кто, как говорится, компетентен?

Ах, опростоволосился, в калошу сел Витюля.

Спортсмен в плаще с кокеткой. Хорошо еще
начальству (и это

несмотря на всю серьезность служебного
расследования) так

никогда и не откроется вся пропасть мальчишества
и

полоротости офицера в погонах с созвездьем
скромным. Так и

не будет знать никто, что время коротали перед
докладом

А...ский с Бл...овом, прослушивая вновь и вновь
очередную

пленочку, на сей раз запись свежую беседы
уполномоченного

с разжалованным активистом в кабинете ректора
ЮГИ.

Особенно вот это место нравилось:

— Не помните?

— Не помню.

— А если постараться?

— Я стараюсь.

— А если поднапрячься?

— Напрягаюсь.

Тут старший званием демонстративно мять бумажку
начинал, а младший весело показывал глазами, мол,
не

хватает, мало.

Ну, в общем, отпустить пришлось Госстраха, и
пропуск выписать, и извиниться в тот же вечер. Увы,
увы. А

Кима, Потомка, инкогнито в рядах студенчества, не
стали на

ночь глядя беспокоить. Лишь утром в квартире с
видом на
проспект Октябрьский, необитаемой как-будто, но
регулярно
посещаемой разнообразными субъектами (при
абсолютном
безразличии к сему и участкового, и
домоуправления) с
постели холостяцкой юношу подняли, цивильным не
чета,
настойчивые, унтер-офицерские звонки зеленого,
как мина
полковая аппарата.
— Можешь идти в общагу досыпать, — не
представляясь
и не здороваясь, поздравил с окончанием карантина
самодостаточный и грубый баритон, но, впрочем,
тут же
потеплел и со смешком, вполне приятельским,
добавил:
— А немчура-дружок тебя продал, сдал-таки, сдал
фриц
недобитый.
Короче, пропустили дискотеку, пропустили оба
такое
мировое мероприятие. А Лера Додд, помощник
режиссера,
ассистент, исполнила служебный долг и
потогонного
тропического ритуала не дожидаясь окончания,
собралась под
там-тамы и кимвалы, во мраке, незаметно, сделать
ноги. Уйти,
свалить, исчезнуть.
И надо было-то всего — тихонько юркнуть в красный

уголок, пакетик пластиковый со стола, не зажигая света,

прихватить, и ходу, ходу.

Но пас ее не зря, тень не напрасно неподвижную, что

справа у пульта весь вечер в поле зрения держал жиртрест,

герой сегодняшнего дня, Громов Толян.

Валера — только за полиэтилен, замочек щелкнул за спиной, свет вспыхнул и снова, второй раз, батюшки, за этот

идиотский день, поплыло, потекло в улыбке сало.

Он приближался, он братъ любил вот так, и по другому просто не умел. А баба? Она, известно, всем дает, так

чем он хуже, елки-палки.

— Ты хоть бы выпить притащил, что так-то сразу?

Выпить? Кричать бессмысленно, все окна

зарешочены, замок только ключом можно открыть хоть с той,

хоть с этой стороны...

— Остался "Херес" наверху, ты будешь?

— Давай.

— Один момент, только без глупостей, договорились?

Щеколда щелкнула. Минута выиграна. А эта парочка столов зачем в углу там друг на друге? Разминку проводили?

Репетировали танцы? Или же просто развернуться было

негде? Теперь не важно, главное — поставить на попа тяжелый

верхний... так, так... еще... еще... чуть ближе к подоконнику...

огонь!

Эх, только-только члены и кандидаты в члены

политбюро, работы исключительной издательства
"Плакат", в

полном составе, дружно стали для улучшения
обзора и

конвекции расстегивать партийный шевиот, девка-
оторва

опрокинула, в окно столкнула двухтумбовый и
вместе со

стеклом стальную халтуру, тяп-ляпство из гнутых
прутьев

высадила.

Пока-пока-покачивая перьями на шляпах,

Судьбе не раз шепнем, — на теплый, пыльный
суглинок

мая приземляясь, колени выпрямляя и отряхиваясь:

— Чао!

СУББОТА

часть третья

ЛЕРА

Он позвонил в субботу. Валера только-только

закончила беседу глупую и утомительную со
свиньей,

внезапно объявившимся и алчущим общения
немедленного,

тесного, подонком Симой Швец-Царевым.

— Ну что, кинозвезда, должок-то будем отдавать?

прохрюкал, прочавкал претендент очередной на
обладанье

прелестями девичьими.

— Или ты думала, забуду и прощу? Ась? Плохо
слышу,

повтори-ка? — был жеребец наредкость нагл и по
обыкновению

решителен, Бог знает каким образом, с чего и
почему, ей

отрицательное, красное выведя сальдо.

Себя же он явно чувствовал в плюсах. Еще бы. Вчера за ужином в "Южбассе" под молодецкие коленца "Мясоедовской", под коньячок со вкусом неутраченным исходного продукта, который шкуркою лимонной и то не сразу перешибешь, брат Вадик выдал младшенькому Диме, извлек из накладного пижонского кармашка и бросил через стол бумажку неказистую, измятую, однако, купленную Симой, тем не менее, за деньги настоящие. Для ощущения жизни полноты, помучал чуточку, но отдал. Кинул. Бери, сопляк. Скажи, спасибо. Конечно, угодил в тарелку с шашлыком, но не испортил этим настроение и аппетит единокровного, родного. Наоборот, необычайно возбудил, взбодрил и даже открылил наследника традиций героических до степени, потребовавшей скорейшей смены общей залы предприятия общепита на узкую кабинку мужской уборной заведенья. Там оказавшись, впрочем, Сима не стал рвать молнию и пуговицы, в зеленых бликах малахитовых щербатой плитки он почерком зазнобы "мама мыла Машу" насладился, затем движеньем резким отделил придаточные неуклюжие от главных безобразных, отнял у подлежащих, пусть мерзкие, с ошибками

чудовищными, но все-таки сказуемые, смешал приставки,
суффиксы и корни, сложил на край фаянсовый, подошвами
изгаженный, бумажек мелких стопку, и сжег. Смахнул
ботинком пепел в вазу неопрятную и утопил в водичке рыжей.
Вот это помнил. Отчетливо и ясно. А далее — ком, муть, ерунда зеленая. Пил все со всеми. Размахивая вилок,
обещал лишить врача команды первой лиги внешности
приятной, пытался забодать его чуть теплого, прижать к
столбу фонарному железным ситом передка тупого жигулевского, блевал в окно, с педали газа ногу не снимая, на
развороченном асфальте у Щетинкиного лога подвеску чудом
не разнес, но потерял колпак, остановился, подобрал, стал
надевать, да от усилий непомерных сомкнулись очи, и к
пыльному, горячему крылу припав, уснул, забылся бедолага.
Короче, милость Творца в том непостижимая, что утро встретил не распотрошенным трупом в морге, а ссадин и
синяков происхожденья неизвестного в расчет не принимая,
живым и невредимым, у открывающейся всем страждущим на
радость ровно в семь, железной шайбы, пивной точки при
речном вокзале.

Кровь разогнал, разбавил, охладил парочкой кружек.

Свел горизонта линию с воображаемой границей неба и земли,

твердь под ногами ощутил, на кожемитовое плюхнулся, дух

смачно отрыгнул ячменный и порулил домой. Нажрался

пирога вчерашнего, распухшего от осетровых нежного филе, и

завалился в люлю. Баю-бай.

Спал, до двенадцати подушку обнимал, дышал в атлас, лен слюной увлажнял. Сон славный вторичный,

вторженьем смеха вадькиного прерванный столь безобразно,

счастливо досмотрел в субботу, и пробудился, будто бы и не

было трех этих гнусных дней, в отменном духа расположении,

готовый жизнь продолжить с той минуты, когда несчастная

едва не прервалась.

А закачалась дивная на волоске в миг сладкий смены

мягкого и круглого на гладкое, упругое, прохладное. После

того, как первой, витаминами, солями минеральными богатой

травушки откушав, попер бычок, расталкивая стадо, прочь, к

черту, двинулся от опостылевшей пеструхи к маячившей там,

с краю, гордой, тонконогой, черненькой.

Му-уууу-ууууу!

— Что значит, не получится сегодня?

Дурная Лиска, добраться до сахарных берцовых, большой и малой, вознамерившись, щенячьими, но остренькими зубками хозяйку заставляла быстро, очень

быстро соображать.

— Так у меня же съемка, Сима.

— В субботу?

— В том-то и дело, что в субботу. Поедем в "Юность",

будем там записывать для передачи новой программу

дискотека Горного.

— Хо, хо, гы-гы! Пойдет. Ништяк. Мы это любим, танцы-шманцы. Когда заехать за тобой-то? За час намазаться

успеешь?

— Уже в порядке, не волнуйся, за мной послали полчаса назад со студии дежурку, вот жду с минуты на

минуту.

— Ну, тоже катит. Значит там встречаемся. Началото

во сколько? В шесть? Ну, все, замеряно. Чулочки красненькие

не забудь надеть.

Ню-ню-ню-ню.

Козел. Счастливо наловить тебе впотымах каких захочешь, красных, синих, черных, заштопанных вчера и

разошедшихся сию минуту в аллюре страстном.

Похоже кинула, так просто. Еще бы одного неплохо так же точно оставить с носом, в луже, на бобах.

Или ни в

коем случае? Перекреститься, что в день, когда Алешка сделал

дурой, он, кстати так, вонючка, нарисовался, мосье Курбатов,

можно сказать, руку протянул?

Нет, подождем, пока что подождем, не станем пачкаться, спешить, просто не выйдем в понедельник на

работу, во вторник тоже не пойдем, приветик, голубой экран,

терпенье, рано или поздно, отец за ужином ли, за обедом

скажет сам:

— Ты, Валя, вот что... Василий завтра трудовую принесет, пойдешь...

Куда теперь? Распространителем билетов в Филармонию, учительницей кройки и шитья в Дом Пионеров?

Какая разница? Он все равно придет, какой бы ни был, чтобы

ни было, придет, придет, и пусть он будет виноватым, а я

прощу, прощу и никуда уже не отпущу...

— Не стыдно? — Валера присела, за холку подняла звереныша смешного, лайку Лиску (вчера отец от дядьки

притащил племянницу трехмесячную попавшей в этом

феврале под колесо уазовское Белки).

— А? Не слишком ли здоровый тебе попался заяц для

первого-то раза? Может быть, лучше пузо почешем для

начала?

Одно другому не мешает, похоже, полагала псина.

Едва лишь ласковые пальцы перестали пух ерошить, малышка

тотчас же за недоеденную, вкусную лодыжку
принялась.

Ну, в общем, самая игра у них с собакой началась,
веселье самое, когда на коридорной тумбочке вновь
дернулся

и запросил ботинка в голову, опутанную проводами,
телефон.

И кто же? Сима, неведомым титаном мысли
надоумленный, с контрольной проверкой? Малюта,
куда-то

забурившаяся, пропавшая, исчезнувшая на неделю:

— Валерка, заberi меня отсюда!

— Ты где?

— Не знаю. Ничего не знаю, заberi меня отсюда.

Или же.

— Анна Витальевна? Алло? Это "Жаворонок"? Алло,
бухгалтерия?

Ззззз — телефон. Тик-тик — часы. Ззззз — телефон.

Тик

тик — часы.

Взять?

(День-конь? Или день-птица? С отметиною черной
или белой?)

— Да.

И ничего. То есть, сердечной мышцы сокращение
без

расслабления, физически, как близкое удушье,
ощущаемое

напряжение молчанья. Что лопнет первым,
перепонка,

мембрана, жила медная или же губы разомкнуться?

О, Боже,

неужели? Так скоро?

— Ты?

— Я.

Алексей, ее Алеша, вот, знайте, знайте, как это

происходит, случается, ха-ха, звонит с вокзала:

— Ты что там делаешь? Меня ждешь? Надо же. Давно?

— и просит, смеша суровостью внезапно оробевшего балбеса,

приехать к нему немедленно, сейчас же.

— А ты, ты сам-то почему не можешь, мой хороший?

— Я объясню, я объясню тебе.

И надо ему должное отдать, он попытался.

— Понимаешь, она бы никогда нам не дала, не то что

вместе быть, жить не дала бы, — Алеша повторял, на гнутой

спартанской деревянной скамейке пустого зала ожидания жд

вокзала сидя:

— А теперь... она никто, ноль, ее нет.

— Серьезно?

— Да, я уезжаю, перевожусь в Запорожье, — его чудесные, но темные глазища смотрели не на Леру, от фрески

оторваться не могли эпохи алюминиевого романтизма во всю

стену, с расставленными там и сям, серой ракете параллельно,

головастиками, что карты звездные заправивши в планшеты, в

раздумьях проводили предстартовые неизменные одиннадцать

минут.

Собственно, уже можно считать, перевелся, во всяком

случае, сдал сессию досрочно и документы во вторник, среду

ближайшую на Украину отошлет, а там... там не должно быть

никаких проблем.

А проблем, препятствий, неожиданностей от судьбы не ждал Алеша Ермаков постольку, поскольку несложным

делом томского студента, там, на днепровских берегах

заняться обещал не кто-нибудь случайный, посторонний,

равнодушный, нет, напротив, его собственная теща, доктор

биологических наук, профессор, проректор ВУЗа уважаемого

и авторитетного Елена Сергеевна Костырева.

Впрочем, Валере подробность эту любопытную,

деталь, нюанс не выложил Алеша тут же, не бухнул, с плеча не

рубанул, умолк в очередной раз и сидел решительный и

бледный, двухмерным, плоским покорителям галактик и

туманностей сродни. А Лера, его чудная девчонка, все

просчитавшая заранее, все, как казалось ей понявшая,

простившая уже, лишь улыбалась, "ну же, ну," — любясь

нежным и чуть вздрагивавшим золотом. Он волновался, он не

решался, смешил забавно заострившимся и удлиннившимся

как-будто носом, и так хотелось миг борьбы его с самим собой

(начало сдачи, отступления продлить) купаться, фыркать в

нем, нырять, но жалость и любовь сильнее оказались эгоизма

победительницы:

— Ага, а мне, так надо понимать, пока что лучше здесь

побыть?

— Тебе... тебе тут лучше оставаться, — померкли несравненные, опали.

— А, вот как.

— Да, Валера, я женился...но... но, в общем-то, не в этом дело.

"Конечно, конечно же, мой славный дурачок,"- дочь следопыта-скорняка смотрела ласково, неправильно, не так

как надо, как всегда, короче, — " Ты говори, я слушаю, чего

держат все это, говори, давай, пока смешно не станет

самому."

Ах, Господи, зачем, зачем он клятву, данную стеклу вагонному, линиялой шторке позавчера, нарушил и позвонил,

за три часа до отправления электрички на Тайгу не выдержал,

набрал ненужный номер в будке телефонной. Хотел быть

честным, объясниться. С кем? С незнающим унынья сгустком

задорной плоти? О чем? О чем он говорить хотел с рекою,

ветром, цветущим лугом? Смысл жизни — смех. Цель, планы

рожица. Страх, ужас, безысходность — язык в развратных

розовых сосочках.

Можно подумать, не отрезал он, не отрубил, две майские недели тому назад, десятого гвардейского числа,

когда в руке ладошку пряча Лены Костыревой,
сестренки
младшей ваятеля и живописца, кивнул
распорядительнице
ЗАГСа, толстухе с замазанными пудрою прыщами:
— Согласен. Да.
Он снова погибал, он снова возвратился в канун
проклятый бесшабашной, шумной ежегодной
стрельбы по
люстрам полупрозрачным пластиком, в пору, когда
Елена
Костырева, к высокому стремящееся существо,
однако,
вынужденное мириться с участью невыносимо
пошлой
студенточки прилежной курса первого, вдрызг
разругавшись с
мамой (весьма практичным орнитологом,
специалистом по
пернатым) на поезд села, и в ночь малороссийскую
была
увезена в великорусском направлении. Прибыв в
столицу,
целый день на Чистых Патриархии пруды искала,
ну, а наутро
с мокрыми ногами и неопасным першением в горле
на
самолете Аэрофлота убыла в богемную Сибирь.
Таким вот образом, с небес, в нежнейшей дымке
семицветной керосиновой и в реве зверском все за
собой
выжигающих турбин к нему явился избавитель, без
крыльев,
но в образе голубки кареглазой.
— Волчонок, — Алеша ей представился с привычным
фатализмом.

— О, значит вечера мы будем проводить за долгою игрою в бисер, — немедленно откликнулась Елена. А он не понял, не понял сразу, не врубился, забаву поначалу эту странную не оценил, игру, которая неспешную,

что теплится от паузы к паузе, беседу предполагает. Стакан

молдавского, туман во взоре от постепенно тающих кристалликов-зрачков, и желтый язычок свечи на каждой грани.

— Так жить нельзя, ты должен убежать, уехать, перевестись, ну, в Запорожье то же.

"Валера, — на завтра будет Алексей строчить, теряя поочередно, то лекции холодной нить, то сумасшедшего

письма идею пылкую, — я уже знаю, почти знаю, как можно все

исправить, переменить..."

Он будет, будет, будет, но...но...но...

Однажды варварский процесс безжалостного потрошения и без того совсем уж отощавшего конспекта

остановится. Очередная выволочка, мозгов воскресная

прочистка, за что, так, ни за что, за пол невымытый, квартиру

пыльную по случаю удачного доклада в ученом обществе

студенческом, лишит внезапно обаяния привычного, желанности открытку, такую редкую, такую замечательную

птичку, не чаще раза в месяц залетающую под букву "Е"

старинной деревянной полки с ячейками, глухими отделениями в холле у вахтера.

"Ей нипочем, все нипочем... мой милый... мой
хороший... ля-ля... ля-ля... все чепуха, все чепуха на
этом

свете... и если написать, я погибаю, умираю, Лера,
нет больше

сил моих, ну, что она ответит в конце весны или в
начале

лета?

Нос выше, хвост трубой, не унывай.

Твоя... твоя... ну кто? Кто, как ее назвать?

Болельщица, сидящая на берегу и наблюдающая за
его

борьбой с симпатией, приязнью, любовью, может
быть, но

безучастно, отстраненно, фиксируя лишь только ход
событий,

вот в водорослях запутался, вот тины первый раз
хлебнул...

Расписывайся в протоколе, Лера! Не выплыл твой.

Ставь точку. Утонул."

Так думал, думал он, не понимая просто, что
одинокий человек не должен, не может без
опасности

лишиться головы, у карих, ласковых и нежных,
греться.

Все, шел, шагал, не замечая светофоров и людей.
Да,

именно в апрельский понедельник, в месяц не
цветень,

березозол, когда на неумытом еще дождем
асфальте пыль

мелкая скрипит и серебрится, все вдруг решилось.
Разом.

Угрюмый, мрачный, большеглазый Гарри, он в
костыревский дом вошел и на вопрос:

— Алеша, неприятности опять? — картонную
коробку

из-под рафинада квадратным кулаком расплющил,
белою

пудрою усыпав и стол, и пол, и собственные брюки.

— Она? Что-то случилось с ней? Она... она тебя
бросила? Скажи? Написала тебе что-то?

Лишь голову, семь пядей опустил, не отвечая,
Ермаков.

И тогда, тогда две длани легкие ему легли на плечи

и

губы мягкие домашние со страстью неожиданной
его

искусанные, беспризорные отчаяно стали врачевать.

Ну, наконец-то костюмированный бал открыл
трубач,

и в маске новой приблизилась Гермина.

В общем, выиграла, сложился домик, пасьянс почти

что безнадежный удался, читательнице журнала

"Иностранная

литература". Ура. Сама не ожидала.

Ну, а мать-то, мама, Елена Сергеевна, как
умудрилась

допустить такой накал страстей, такое пламя, бред,
нелепость.

Так вышло. Два раза в декабре звонила, пытаюсь
урезонить

дерзющую девицу, и... и все. Ибо ночь православного

Рождества наполнил для нее мелкой вибрацией и

шумом

нескончаемым Ил-62, унесший профессора
Костыреву в

страну ирокезов и семинолов, штат Висконсин,
город

Милуоки, то есть туда, куда по приглашенью
тамошнего

университета и направлялась Елена Сергеевна
лекции читать,
знакомить с нашей флорой и фауной разнообразной
чрезвычайно любознательную молодежь Среднего
Запада.

Три месяца на берегах озера Мичиган сеяла она
разумное,

доброе, вечное, вернулась, и сейчас же за
непослушной в

Томск. На десять дней каких-то опоздала. Ах-ах-ах.
Но,

впрочем, жениха нашла разумным, неболтливym,
скромным,

положительным, короче, согласилась на
довольствие принять,

тем более, что юноша готов был под ее крыло с
вещами хоть
сейчас.

— Ладно, сдавай сессию, а я с кем надо тут
поговорю.

То есть, благословила. Благословила и уехала.

Напутствия, совет вам да любовь — слов
отпускающих

грехи от мамы номер два никто не ждал, а посему
ее не стали

загодя предупреждать о времени и месте.

— Представляешь, какая рожа постная будет у нее,
когда она узнает! — так выразил на ушко
новобрачной всю

безграничность радости своей молодожен, зал
драпированный

дешевым кумачом и розами бумажными Дворца
венчаний под

звуки марша покидая.

Действительно, лицо Галины Александровны

скромным стало, усохло, раскрыло мириады старых
и новых

тьму мгновенно, безобрано прорезавшихся вдруг
морщинок,

но вовсе не тогда, когда она записку обнаружила,
подброшенную гнусным негодяем в почтовый ящик,
нет,

изуродовал несчастную за сим последовавший
разговор с

сестрой Надеждой:

— Ну что ты, Галя, — лениво в кресле шевелясь, та
молвила, услышав просьбу в заключение рассказа
гневно,

свести мать оскорбленную немедленно с военным
комиссаром или же с комитетом областного
председателем, — не
стоит беспокоиться.

— Да как ты смеешь? Ты же обещала?

— И что с того, что обещала, ведь речь-то о девке
уличной тогда шла, правда? А с шушерой
профессорской

никто не станет связываться. У одного, Андрея
Николаевича,

сейчас девчонка на истфаке, а у Антона два
племянника на

разных курсах. Нет, нет, тем более, что все это на
самом деле

яйца не стоит выеденного... Ну, эка невидаль,
женился, не

спросив тебя...

Через час с неодолимой дрожью в членах и
родственного эпителия частичками под
потерявшими

опрятность коготками, Галина Александровна уже в
автобусе

сидела южносибирском. Но выйти из железного ей в пункте

назначения самой не довелось, вынесли женщину, уложили,

скорую вызвали сердобольные попутчики, отзывчивые люди.

Ну а уж в третьей городской доценту с неподвижными

глазами для женщины весьма нечастый поставили диагноз.

Инсульт. Сосудик лопнул в голове. Как видите, все, к черту,

сплетники поперепутали проклятые.

А томский житель Леша не ведал и сего, избавлен был

судьбою даже от гнусных этих врак, да он и сам все сделал,

дабы миновали его муки и переживания по поводу того, что

им в горячке брошенное некогда:

— Убью ее, убью, — лишь по случайности счастливой эхом мрачным не откликнулось спустя полгода:

— Ермаков, зайдите в деканат.

— А что такое?

— Там все скажут.

Нет, повезло. Ходить вокруг да около, подыскивать слова и официальное сочувствие изображать не требовалось

вовсе. За жабры брать, как раз не возбранялось, даже

вменялось случай не упускать и потому декан был краток и

конкретен:

— Так, отъезжающий, пока мы тут твои бумажки рассмотрим да подпишем, свежи-ка эти материалы в

оргкомитет южносибирской конференции
региональной. Ты

все равно, небось, поедешь прощаться со своими,
ну, вот и

совместишь общественное с личным.

Что он и сделал, идиот. Все, все предусмотрел,
даже

поехал, нелепой встречи, или свидания страшась
ужасного,

путем замысловатым, хитроумным, дорогою
железной с

пересадкою в Тайге. У Сашки Ушакова хоронился,
как вор в

законе, гастролер.

— Алло... простите, не приехал Аким Семенович... а?
Извините.

Сутки сидел, лежал у телефона, и удержался, а на
вокзале, на вокзале... нет объяснений, нет...

— Так будет лучше.

— Тебе?

— Тебе, Валерочка, тебе, ты и представить себе не
можешь даже...

"Ну, хватит, милый, мой хороший, вид делать
неуклюжий, что ты случайно здесь, проездом. Ты же
вернулся,

и не надо из последних сил сосредотачиваться на
отвратительной мазне сырыми красками по влажной
штукатурке, ты посмотри же наконец на девочку
свою,

дурашка, а рот закрой, чтоб стыдно не было потом."

— Леха-лепеха.

— Валера, это глупо, перестань.

— Нет, буду, буду, буду.

Она стояла и манила Алексея. Манила сумкой его
дорожной, тощей, грязной, но с парой папочек —
рифленный

коленкор, тесемочки бордовые:

— Уж вы, пожалуйста, Андрею Константиновичу лично.

— Валера, — догнал, конечно, догнал, еще бы, и под руку волнуясь взял.

— Что будешь отбирать?

— Нет, нет, но ты...ты шутишь, ты сама отдашь.

— Конечно, завтра, послезавтра обязательно.

"Преступница, преступница, мать-тварь права, Валерка — исчадь ада, ведьма, и то, что кажется немыслимым, невероятным, противоестественным, ты, ею загипнотизированный, заколдованный, делаешь с легкостью безумной, дикой, и кажется, что даже счастлив, счастлив при этом."

— Вот, так бы сразу, — сказала Лерка балабасу своему

уже в стопервом, когда Алешка, испытания последнего не

выдержав, взбежал, от желтых оттолкнулся ступенек грязных,

и чудом в дверные клещи не попав, встал с нею рядом.

— На, пассажир, багаж, таскай уж сам свои сокровища.

Все, только запах, его волшебный, несравненный запах

мальчишки славного, который не механизм вонючий, не

налегавшая, плодившаяся с бесстыдством туфельек, амёб в

неимоверной духоте субботних дачников толпа, не в силах

оказалась, неспособна, как ни старалась, заглушить.

Мой милый, мой смешной.
И даже на Кирова, протискиваясь, прорываясь к
выходу, казалось, его дыханье ощущала рядом, чуть
сбоку,
сзади, непрерывно...
Ее толкнули, какой-то ненормальный зацепил
лопаты
черенком, бабенка толстою спиной оттерла было, но
Леха, кто
ж еще, плечом? рукой? ногой? сумел-таки на долю
может
быть секунды образумить копошенье потное, и
вышли, слава
тебе Господи, выпали.
— Ну что, не сердись, не злишься больше? —
Валерка
обернулась, и вместо синих и родных, в чужие чьи-
то черные
уткнулась взглядом.
Не может быть, не может быть.
Гармошка, вмяв тетку белотелую в людское месиво,
сомкнулась, автобус отвалил, просев до мостовой, а
невезучий, оставшийся с рассадой в мешке
полиэтиленовом,
мужик, нисколько не стесняясь, зло и громко, всю
душу в трех
словах излил.
ВЕЧЕР
К разврату все готово было.
Уже по столынику вкатили, выпили пайкового,
наркомовского, рябинкой умягченного КВВК, Колчак
ушел
насчет бассейна утреннего распорядиться, а Толик,
Тимоха,
убежал еще разок посты проверить, готовность всех
расчетов

боевых, столы, закусточку, напитки, эх, мать родна,
но перво
наперво курчавенькому дискжокею в баре:
— Три, четыре, три, четыре, — дыханьем
распаляющему
микрофон, шепнуть:
— Ну, тезка, поздравляю. Хозяин зовет тебя после
всего к себе. Там будет маленький междусобойчик
только для
своих, ты понял, комната пятьсот двенадцатая... Да,
о клубе
городском, о новом аппарате... о чем захочешь,
будешь
аккуратен, сумеешь поговорить".
Конечно, дупель, будь смелее, запретных тем
сегодня
нет, ты только засади еще рюмашку, вот так, вот
так, пускай
мягчают, увлажняются, до нужной деликатнейшей,
десертной
кондиции особой, доходят губки заповедные твои,
тогда
умолкшего под утро мы возьмем, штанишки снимем
с мягких
ножек, два пряничка кофейных извлечем, разложим
на
подушечке...
Ммммм... в самом деле, в самом деле, стоял и
мятной слюнки шарики катал во рту Цуркан, глядя в
окно
открытое, окрестности турбазы "Юность" обозревая.
Хе-хе.
Но, Провидение, судьба хранила кузнецовский
трудолюбивый сфинктер от совершенно
неадекватного, по

мнению светил тогдашней отечественной
медицины,

проникновения извне.

Ага, угрюмый, скрытный страстотерпец Жаба не
дожидаясь ужина с московскою особой и танцев под
Би Джиз

оттянется, кончая, замычит и заскрипят его
большие коренные
соприкоснувшись с малыми.

Увы, похабные движения под музыку придется
отменить. Милиция займется активистами и
рационализаторами буквально через час, станет
прочесывать

лесок и вызывать всех в комнату на первом этаже.
Всех, всех,

товарища Цуркана, виновника внезапной смены
декораций, в
том числе.

Но обойдется, обойдется, иные подозрения
возникнут,

связи наметятся, всплывут завтра, и драма
настоящая начнется

после того, как бывшая подруга Ирка, подкараулив
у подъезда

Симу безлошадного, плеснет ему в лицо грамм
двести

жидкости, кою обыкновенно применяют в слесарном
деле,

готовя к пайке пару железяк.

Какие перемены ждут каких людей, перестановки,
пенсии, отставки, и только Жаба, Игорек, раз в
жизни

совершивший поступок опрометчивый, но радующий
душу,

согревающий ее в минуту трудную воспоминаньем
светлым,

спокойно отсидит свой цикл отчетно-перевыборный,
и в
областное Управление торговли уйдет с почетом в
конце
концов.

Но что случится, произойдет сегодня?
Фейрверк! Сгорит, сгорит "Жигуль" с отключенным
багажником и рылом, нарывающим грызть асфальт,
пахать
газоны, землю есть.

Лишь черный остов в серых струпьях пепла
дымиться
будет через час на пятачке, площадке
бетонированной за
кинозалом, где друга верного вот-вот оставит,
припаркует
сынوك Василия Романовича Швец-Царева Дима.

И ничего тут изменить нельзя, летит по просеке под
соснами авто самонадеянного гада, еще секунда, и
выскочит

из леса, чтоб, резко сбросив газ у неразъемного
шлагбаума,
свернуть под узкие бойницы туалетов клубной
части. Дверь

распахнется, и симкина башка появится над крышей
цвета

африканских дюн, замочек щелкнет и гаер, ослепив
искрою

бархатного пиджака, вальяжно вдоль белых стен
пойдет,

поплеывая, на ту сторону к парадному крыльцу.

И все это на глазах, на виду у Игоря Цуркана,
товарища с большою головой и очень сильными
руками, в

отличном кейсе крокодиловом которого лежит,
покоится

завернутый в тряпицу белую, красавчик, лапушка,
патронами

калибра тридцать восемь спешал снаряженный
армейский

револьвер модели "Аэркрюмен".

Ха. Не пропали, не пропали милые, привезенные из
Германской Демократической Республики
секретарем

училища командного в подарок:

— Под Зауэр ФР4, должны быть, как родные к
твоему,

нашелся кстати?

Нет, но должен был, обязан, и верил в это Жаба,
знал,

не зря в коробочке лежат, лаская взор, если
открыть,

колесиками-солнышками капсулей патрончики-
патроны,

только не думал, никак не думал, что организма
неотъемлемую часть, часть существа вернет сосед
чушковский, вор и зэк, Олежка Сыроватко, Сыр.

Вчера, буквально на часок к родителям заехал. С

отцом сидели в доме, толковали о письмах дяди
Иона, о том,

что ехать надо, ехать:

— Ты подожди, отец, ты всю дорогу так,
разгоношишься, не остановишь. Подумать надо...

— Что тут думать...

Был на машине, первача не стал, но мать уговорила
вареников поест. Сама копалась в огороде, вдруг
заходит.

— Там Сыроватко младший во дворе. Не выйдешь,
спрашивает?

Вышел.

— Ну, здравствуй.

— Здравствуй.

Разговор не клеился, прошли меж грядок до теплицы

и там, в малиннике, достал Сыр сверток из кармана и, фиксы

звездочкой подмигивая, развернул.

— Где взял?

— Не важно, взял и все.

— Нет, ты скажи.

— Швец проиграл в ази. Азартен, а дурак, царевский послед, знаешь? — и ухмыльнулся Сыр и цыкнул, — а я ведь

никогда тебе не верил Цура, вот знал и все, что у тебя

хлопушка покойника осталась.

— Продай.

— Зачем, я так тебе отдам.

— Отдашь?

— Конечно, не чмо же я какое, земляк на земляке сидеть не должен, так ведь? И я тебя по шерсти, и ты меня не

станешь обижать. Да мне-то самому и ничего не надо. Ты

помоги Витальке Варгашеву, Витальку помнишь, Серегиного

брата, ну, так он участковым тут в Чушках, хороший парень,

да малость залетел по пьянке, теперь вот хочет в школу

с высшую милиции, а ходу нет. Ты бы помог парнишке

с рекомендацией. А пушку — забирай, бери, бери, и мне

свободней, и тебе потеха.

Спокоен был, как в тире МВД, откинул барабан, крутнул, вернул на место, в пустынный коридор

начальственного вышел этажа и по мохнатому ковру
в торец,

защелку потянул двери стеклянной — пошла, пошла
милашка.

Здесь лестница пожарная, балконы с дырками в
решетке

половой, спустился до ветвей черемухи и спрыгнул
на траву.

Кружок по склону дал и, точно рассчитав, поднялся
к тем

кустам, березам, что у клуба.

Всего лишь пара метров до швец-царевского
корыта.

Двумя руками поднял, проигранный Вадюхой-
доктором, а,

впрочем, разница какая, подонком, негодяем, кольт
и на изгиб

ствола подруги белой опустил.

Блин, ночью в чаще собирался пошмалять, но днем
то, днем-то, ясна-песня, веселее.

Что ж, знатная субботка выдалась. Ну, просто
заглядение.

— Ты только полюбуйся, — пассажир толкнул
водителя,

— ниче дает!

Действительно, под сизую сиренью фонарей-очей

Советского проспекта девчонка шла, красуля
длинноногая,

баскетболистка, по центру правой серой полосы,
вдоль синих

окон, желтых стен, лепнины красной и неоновых
партийных

букв по направленью к площади с чугунным
монументом. Ее

качало, вводило силой вражьей с белого пунктира,
но шла,

настырная, упрямо, держалась середины, лишь на мгновенье

замирая, останавливаясь, чтобы головку запрокинуть и

поднести сосуд к губам. Пустой, увы, пустой, прозрачный,

круглый и холодный.

— Садись, подбросим... Куда тебе, веселая?

— Прямо. Строго прямо.

— А что за праздник, девушка? Гуляем почему?

— А в Питер еду. Еду в Питер на той неделе.

1991-1995